ДЖОЗЕФ КОНРАД

СЕРДЦЕ ТЬМЫ. ПОВЕСТИ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ

Литрес

Джозеф Конрад

Сердце тьмы. Повести о приключениях

«Public Domain»

1902

Конрад Д.

Сердце тьмы. Повести о приключениях / Д. Конрад — «Public Domain», 1902

ISBN 978-5-699-75740-4

«Сердце тьмы» – путешествие английского моряка в глубь Африки, психологическое изображение борьбы цивилизации и природы, исследование «тьмы человеческого сердца», созданное Джозефом Конрадом после восьми лет пребывания в Конго. По мотивам повести «Сердце тьмы» был написан сценарий знаменитого фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». В сборник вошли повесть «Тайфун» и роман «Лорд Джим», в которых передано великолепие и коварство морской стихии, величие и слабость человека, и повесть «Дуэль». Мастерство Конрада признавали Грэм Грин, Эрнест Хемингуэй, Генри Джеймс.

ISBN 978-5-699-75740-4

© Конрад Д., 1902
© Public Domain, 1902

Содержание

Сердце тьмы 5
I 5
II 26
III 43
Тайфун 60
I 60
II 68
Конец ознакомительного фрагмента. 73

Джозеф Конрад
Сердце тьмы. Повести о приключениях

Сердце тьмы

I

Яхта «Нелли» покачнулась на якоре – паруса ее были неподвижны – и застыла. Был прилив, ветер почти стих, а так как ей предстояло спуститься по реке, то ничего другого не оставалось, как бросить якорь и ждать отлива.

Перед нами раскрывалось устье Темзы, словно вход в бесконечный пролив. В этом месте море и небо сливались, и на ослепительной глади поднимающиеся с приливом вверх по реке баржи казались неподвижными; гроздья обожженных солнцем красноватых парусов, заостренных вверху, блестели своими полированными шпринтовами. Туман навис над низкими берегами, которые словно истаивали, сбегая к морю. Над Грейвсэндом легла тень, а дальше, вглубь, тени сгущались в унылый сумрак, застывший над самым большим и великим городом на земле.

Капитаном и владельцем яхты был директор акционерной компании. Мы четверо дружелюбно на него поглядывали, когда он, повернувшись к нам спиной, стоял на носу и смотрел в сторону моря. На всей реке никто так не походил на типичного моряка, как он. Он был похож на лоцмана, который для моряков олицетворяет собою все, что достойно доверия. Трудно было поверить, что его профессия влекла его не вперед, к этому ослепительному устью, но назад – туда, где сгустился мрак.

Как я уже когда-то говорил, все мы были связаны узами, какие налагает море. Поддерживая нашу дружбу в течение долгих периодов разлуки, эти узы помогали нам относиться терпимо к рассказам и даже убеждениям каждого из нас. Адвокат – превосходный старик – пользовался, вследствие преклонного своего возраста и многочисленных добродетелей, единственной подушкой, имевшейся на палубе, и лежал на единственном нашем пледе. Бухгалтер уже извлек коробку с домино и забавлялся, возводя строения из костяных плиток. Марлоу сидел, скрестив ноги и прислонившись спиной к бизань-мачте. У него были впалые щеки, желтый цвет лица, прямой торс и аскетический вид; сидя с опущенными руками и вывернутыми наружу ладонями, он походил на идола. Директор, убедившись, что якорь хорошо держит, вернулся на корму и присоединился к нам. Лениво обменялись мы несколькими словами. Затем молчание спустилось на борт яхты. Почему-то мы не стали играть в домино. Мы были задумчивы и пребывали в благодушно-созерцательном настроении. День безмятежно догорал в ослепительном блеске. Мирно сверкала вода; небо, не запятнанное ни одним облачком, было залито благостным и чистым светом; даже туман над болотами Эссекса был похож на сияющую и тонкую ткань, которая, спускаясь с лесистых холмов, прозрачными складками драпировала низменные берега. Но на западе, вверх по течению реки, мрак сгущался с каждой минутой, как бы раздраженный приближением солнца.

И наконец, незаметно свершая свой путь, солнце коснулось горизонта и из пылающего, белого превратилось в тусклый красный шар, лишенный лучей и тепла, как будто этот шар должен был вот-вот угаснуть, пораженный насмерть прикосновением мрака, нависшего над толпами людей.

Сразу изменился вид реки, блеск начал угасать, а тишина стала еще глубже. Старая широкая река, не тронутая рябью, покоилась на склоне дня после многих веков верной службы людям, населявшим ее берега; она раскинулась невозмутимая и величественная, словно вод-

ный путь, ведущий к самым отдаленным уголкам земли. Мы смотрели на могучий поток и видели его не в ярком сиянии короткого дня, который загорается и угасает навеки, но в торжественном свете немеркнущих воспоминаний. И действительно, человеку, который с благоговением и любовью, как принято говорить, «отдал себя морю», нетрудно воскресить в низовьях Темзы великий дух прошлого. Поток, вечно несущий свою службу, хранит воспоминания о людях и судах, которые поднимались вверх по течению, возвращаясь домой на отдых, или спускались к морю, навстречу битвам. Река служила всем людям, которыми гордится нация, – знала всех, начиная от сэра Фрэнсиса Дрэйка и кончая сэром Джоном Франклином; то были рыцари, титулованные и нетитулованные, великие рыцари – бродяги морей. По ней ходили все суда, чьи имена, словно драгоценные камни, сверкают в ночи веков, – все суда, начиная с «Золотой лани» с круглыми боками, которая набита была сокровищами и после визита королевы выпала из славной легенды, и кончая «Эребом» и «Ужасом», стремившимися к иным завоеваниям и так и не пришедшими назад. Река знала суда и людей; они выходили из Дэтфорда, из Гринвича, из Эрита – искатели приключений и колонисты, военные корабли и торговые капитаны, адмиралы, неведомые контрабандисты Восточных морей и эмиссары, «генералы» Восточного индийского флота. Те, что искали золото, и те, что стремились к славе, – все они спускались по этой реке, держа меч и часто – факел, посланцы власти внутри страны, носители искры священного огня.

Солнце зашло, сумерки спустились на реку, и вдоль берега начали загораться огни. На тинистой отмели ярко светил маяк Чэпмэн, поднимающийся словно на трех лапах. Огни судов скользили по реке – великое перемещение огней, которые приближались и удалялись. А дальше, на западе, чудовищный город все еще был отмечен зловещей тенью на небе – днем отмечало его сумрачное облако, а ночью – багровый отблеск под сверкающими звездами.

– И здесь тоже был один из мрачных уголков земли, – сказал вдруг Марлоу.

Из нас он был единственным, кто все еще плавал по морям. Худшее, что можно было о нем сказать, это то, что он не являлся типичным представителем своей профессии. Он был моряком, но вместе с тем и бродягой, тогда как большинство моряков ведет, если можно так выразиться, оседлый образ жизни. По натуре своей они – домоседы, и их дом – судно – всегда с ними, а также и родина их – море. Все суда похожи одно на другое, а море всегда одно и то же. На фоне окружающей обстановки, которая никогда не меняется, чужие берега, чужие лица, изменчивый лик жизни скользят мимо, завуалированные не ощущением тайны, но слегка презрительным неведением, ибо таинственным для моряка является только море – его владыка, – море, неисповедимое, как сама судьба. После рабочего дня случайная прогулка или пирушка на берегу открывает моряку тайну целого континента, и обычно моряк приходит к тому заключению, что эту тайну не стоило открывать. Рассказы моряков отличаются простотой, и смысл их как бы заключен в скорлупу ореха. Но Марлоу не был типичным представителем моряков (если исключить его любовь сочинять истории), и для него смысл эпизода заключался не внутри, как ядрышко ореха, но в тех условиях, какие вскрылись благодаря этому эпизоду: так благодаря призрачному лунному свету становятся иногда видимы туманные кольца.

Замечание его никому не показалось странным. Это было так похоже на Марлоу. Его выслушали в молчании. Никто не потрудился хотя бы проворчать что-нибудь в ответ. Наконец он заговорил очень медленно:

– Я думал о тех далеких временах, когда впервые появились здесь римляне, тысяча девятьсот лет назад… вчера… Свет, скажете вы, загорелся на этой реке во времена рыцарей? Да, но он был похож на пламя, разлившееся по равнине, на молнию в тучах. Мы живем при вспышке молнии – да не погаснет она, пока движется по орбите наша старая земля! Но вчера здесь был мрак. Представьте себе настроение командира красивой… как они называются?.. ах да!.. триремы в Средиземном море, который внезапно получил приказ плыть на север. Он едет сушей, спешно пересекает земли галлов и принимает командование одним из тех судов,

которые, если верить книгам, строились сотней легионеров в течение одного-двух месяцев… Какими ловкими парнями были, должно быть, эти люди!.. Представьте себе, что этот командир явился сюда, на край света… Море свинцовое, небо цвета дыма, судно неуклюжее, как концертино, а он поднимается вверх по реке, везет приказы, или товары, или… что хотите. Песчаные отмели, болота, леса, дикари… очень мало еды, пригодной для цивилизованного человека, и нет ничего, кроме воды из Темзы, чтобы утолить жажду. Здесь нет фалернского вина, нельзя сойти на берег. Кое-где виднеется военный лагерь, затерявшийся в глуши, как иголка в стоге сена. Холод, туман, бури, болезни, изгнание и смерть – смерть, притаившаяся в воздухе, в воде, в кустах. Должно быть, здесь люди умирали, как мухи. И все-таки он это вынес. Вынес молодцом, не тратя времени на размышления, и только впоследствии хвастался, быть может, вспоминая все, что пришлось ему перенести. Да, то были люди достаточно мужественные, чтобы заглянуть в лицо мраку. Пожалуй, его поддерживала надежда выдвинуться, попасть во флот в Равенне, если найдутся в Риме добрые друзья и если пощадит его ужасный климат. И представьте себе молодого римлянина из хорошей семьи, облаченного в тогу. Он, знаете ли, слишком увлекался игрой в кости и, чтобы поправить свои дела, прибыл сюда в свите префекта, сборщика податей или купца. Он высадился среди болот, шел через леса и на какой-нибудь стоянке в глубине страны почувствовал, как глушь смыкается вокруг него, ощутил биение таинственной жизни в лесу, в джунглях, в сердцах дикарей. В эти тайны не могло быть посвящения. Он обречен жить в окружении, недоступном пониманию, что само по себе отвратительно. И есть в этом какое-то очарование, которое дает о себе знать. Чарующая сила в отвратительном. Представьте себе его нарастающее сожаление, желание бежать, беспомощное омерзение, отказ от борьбы, ненависть…

Марлоу умолк.

– Заметьте… – заговорил он снова, поднимая руку, обращенную к нам ладонью и походя в этой позе, со скрещенными ногами, на проповедующего Будду, одетого в европейский костюм и лишенного цветка лотоса. – Заметьте: никому из нас эти чувства не доступны. Нас спасает сознание целесообразности, верное служение целесообразности. Но этим парням не на что было опереться. Колонизаторами они не были. Боюсь, что административные их меры были направлены лишь на то, чтобы побольше выжать. Они были завоевателями, а для этого нужна только грубая сила – хвастаться ею не приходится, ибо она является случайностью, возникшей как результат слабости других людей. Они захватывали все, что могли захватить, и делали это исключительно ради наживы. То были грабеж, насилие и избиение в широком масштабе, и люди шли на это вслепую, как и подобает тем, что хотят помериться силами с мраком. Завоевание земли – большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас, – цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться. Искупает ее только идея, идея, на которую она опирается, – не сентиментальное притворство, но идея. И бескорыстная вера в идею – нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы.

Марлоу прервал свою речь. Огни скользили по реке – маленькие огоньки, зеленые, красные, белые; они преследовали друг друга, догоняли, сливались, потом снова разъединялись медленно или торопливо. В сгущающемся мраке движение на бессонной реке не прекращалось. Мы смотрели и терпеливо ждали – больше нечего было делать, пока не окончится прилив; но после долгого молчания, когда он нерешительно сказал: «Думаю, вы, друзья, помните, что однажды я сделался ненадолго моряком пресных вод», – мы поняли, что до начала отлива нам предстоит прослушать одну из неубедительных историй Марлоу.

– Я не хочу надоедать вам подробностями, касающимися того, что случилось со мной лично, – начал он, проявляя в этом замечании слабость многих рассказчиков, которые частенько не знают, чего хочет от них аудитория. – Но, чтобы понять, какое впечатление это

на меня произвело, вы должны знать, как я туда попал, что я там видел, как поднялся по реке к тому месту, где впервые встретил бедного парня. То был конечный пункт, куда можно было проехать на пароходе, и там была кульминационная точка моих испытаний; когда я ее достиг, свет озарил все вокруг меня и проник в мои мысли; происшествие было довольно мрачное… и печальное… ничем особенно не примечательное… и туманное. Но каким-то образом оно пролило луч света.

Если вы помните, я тогда только что вернулся в Лондон после долгого плавания в Индийском и Тихом океанах и в Китайском море. Восток я принял в хорошей дозе – провел там около шести лет. Вернувшись, я бродил без дела, мешая вам, друзья мои, работать и врываясь в ваши дома так, словно небо поручило мне призвать вас к цивилизации. Сначала мне это очень нравилось, но спустя некоторое время я устал отдыхать. Тогда я начал присматривать судно – труднейшая, скажу я вам, работа. Но ни одно судно даже смотреть на меня не хотело. И эта игра мне тоже надоела.

Когда я был мальчишкой, я страстно любил географические карты. Часами я мог смотреть на Южную Америку, Африку или Австралию, упиваясь славой исследователя. В то время немало было белых пятен на земле, и когда какой-нибудь уголок на карте казался мне особенно привлекательным (впрочем, привлекательными были все глухие уголки), я указывал на него пальцем и говорил: «Вырасту и поеду туда». Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Впрочем, я там не бывал и теперь не собираюсь туда ехать. Очарование исчезло. Другие уголки были разбросаны у экватора и во всех широтах обоих полушарий. Кое-где я побывал и… но не будем об этом говорить. Остался еще один уголок – самое большое и самое, если можно так выразиться, белое пятно, – куда я стремился.

Правда, теперь его уже нельзя было назвать неисследованным: за время моего отрочества его испещрили названия рек и озер. Он перестал быть неведомым пространством, окутанным тайной, – белым пятном, заставлявшим мальчика мечтать о славе. Он сделался убежищем тьмы. Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте, – она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца; голова ее опущена в море, тело извивается по широкой стране, а хвост теряется где-то в глубине страны. Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу – маленькую глупенькую птичку. Потом я вспомнил о существовании крупного коммерческого предприятия – фирмы, ведущей торговлю на этой реке. «Черт возьми! – подумал я. – Они не могли бы торговать, если б не было у них каких-нибудь судов, пароходов, которые ходят по этой реке! Почему бы мне не добиться командования одним из пароходов?» Я шел по Флит-стрит и не мог отделаться от этой мысли. Змея меня загипнотизировала.

Да будет вам известно, что эта торговая фирма находилась на континенте, но у меня есть множество родственников, проживающих на континенте, ибо жизнь там, по их словам, дешева и менее отвратительна, чем принято думать.

Со стыдом признаюсь, что я начал им надоедать. Уже и в этом была для меня новизна. Как вам известно, таким путем я не привык действовать. Я шел всегда своей дорогой, шел самостоятельно туда, куда хотел идти. Раньше я не подозревал, на что я способен, но, видите ли, теперь я чувствовал, что должен туда попасть во что бы то ни стало. Итак, я им надоедал. Мужчины говорили: «Дорогой мой!» – и ничего не делали. Тогда – поверите ли? – я обратился к женщинам. Я, Чарли Марлоу, заставил женщин добывать для меня место. О господи! Но я был одержим навязчивой идеей. У меня была тетка, славная энтузиастка. Она мне написала: «Это будет очаровательно. Я готова для тебя сделать все, что угодно. Блестящая идея. Я знакома с женой одного видного администратора, человека, пользующегося большим влиянием…» и т. д. и т. д. Она готова была перевернуть небо и землю, чтобы раздобыть для меня место шкипера на речном пароходе, раз таково мое желание.

Конечно, место я получил – и очень скоро. Оказывается, фирму известили о том, что один из капитанов убит в стычке с туземцами. Таким образом, мне представился удобный случай, и тем сильнее захотелось мне туда поехать. Лишь много месяцев спустя, когда я сделал попытку разыскать останки убитого, мне сообщили, что ссора возникла из-за куриц. Да, из-за двух черных куриц! Датчанин Фрэслевен – так звали капитана – вообразил, что его обсчитали, и, сойдя на берег, начал дубасить палкой старшину деревушки. О, это меня нисколько не удивило, хотя, по слухам, Фрэслевен был самым кротким и смирным созданием. Несомненно, так оно и было; но он, знаете ли, уже провел два года в служении благородной идее и, должно быть, чувствовал потребность так или иначе поддержать свое достоинство. Поэтому он безжалостно колотил старого негра на глазах устрашенной толпы туземцев, пока какой-то парень – кажется, сын старшины, – доведенный до отчаяния воем старика, не попытался метнуть копье в белого человека. Конечно, оно вонзилось между лопатками. Тогда все население в ожидании всевозможных несчастий устремилось в лес, а на пароходе Фрэслевена тоже началась паника, и пароход отчалил; насколько мне известно, командование взял на себя механик. Впоследствии никто, видимо, не позаботился об останках Фрэслевена, пока я не явился и не занял его место. Я не мог предать дело забвению, но когда мне представился наконец случай повстречаться с моим предшественником, трава, поросшая между ребрами, была достаточно высока, чтобы скрыть скелет. Все кости остались на своем месте. После его падения никто не прикасался к сверхъестественному существу. И деревня была покинута; черные подгнившие хижины покосились за упавшим частоколом. Поистине бедствие постигло деревню. Население исчезло. Охваченные ужасом мужчины, женщины и дети скрылись в зарослях и так и не вернулись. Мне неизвестно, какая судьба постигла кур. Однако я склонен думать, что они достались служителям прогресса. Как бы то ни было, но благодаря этому славному подвигу я получил место раньше, чем начал по-настоящему надеяться на получение его.

Я метался, как сумасшедший, чтобы поспеть вовремя; не прошло и сорока восьми часов, как я уже переплывал Канал, чтобы явиться к моим патронам и подписать договор. Через несколько часов я прибыл в город, который всегда напоминает мне гроб повапленный. Несомненно, это предубеждение. Я без труда разыскал контору фирмы. То было крупнейшее предприятие в городе, и все, кого бы я ни встречал, одинаково отзывались о нем. Фирма собиралась эксплуатировать страну, лежащую за морем, и извлекать из нее сумасшедшие деньги.

Узкая и безлюдная улица, густая тень, высокие дома, бесчисленные окна с жалюзи, мертвое молчание, трава, проросшая между камнями, справа и слева величественные ворота, огромные массивные двери, оставленные полуоткрытыми. Я пролез в одну из этих щелей, поднялся по лестнице, чисто выметенной, не застланной ковром и наводящей на мысль о бесплодной пустыне, и открыл первую же дверь. Две женщины – одна толстая, другая худая – сидели на стульях с соломенными сиденьями и что-то вязали из черной шерсти. Худая женщина встала и, не переставая вязать, двинулась с опущенными глазами прямо на меня; я уже хотел посторониться, уступая ей дорогу, словно она была сомнамбулой, но как раз в этот момент она остановилась и подняла глаза. Платье на ней было гладкое, как чехол зонтика; не говоря ни слова, она повернулась и повела меня в приемную. Я назвал свое имя и осмотрелся по сторонам. Посередине стоял сосновый стол, вдоль стен выстроились простые стулья, а в конце комнаты висела большая карта, расцвеченная всеми цветами радуги. Немало места было уделено красной краске – на нее во всякое время приятно смотреть, ибо знаешь, что в отведенных ей местах люди делают настоящее дело, – много было голубых пятен, кое-где виднелись зеленые и оранжевые, а пурпурная полоса на восточном берегу указывала, что здесь славные пионеры прогресса распивают славное мартовское пиво. Но не в эти края собирался я ехать – мне предназначено было желтое пространство. В самом центре. И река была здесь – чарующая, смертоносная, как змея. Брр!..

Открылась дверь, показалась седовласая голова секретаря. Он посмотрел на меня сочувственно и костлявым указательным пальцем поманил в святилище. Там было мало света; посередине расположился тяжелый письменный стол. За этим монументом сидел кто-то бледный и толстый, одетый в сюртук. Великий человек собственной своей персоной! Насколько я мог судить, ростом он был пять футов шесть дюймов, а в кулаке своем держал несколько миллионов. Кажется, мы обменялись рукопожатием, он что-то пробормотал и остался доволен моим французским языком. Bon voyage[1].

Секунд через сорок пять я снова очутился в приемной в обществе сострадательного секретаря, который с унылым и сочувственным видом дал мне подписать какую-то бумагу. Кажется, я, помимо прочих обязательств, дал обещание не разглашать коммерческих тайн. Ну что ж, я и не собираюсь это делать…

Я начал чувствовать себя неловко. Как вы знаете, я не привык к таким церемониям, а в воздухе было что-то зловещее. Казалось, меня приобщили к какому-то тайному и не вполне честному заговору, и я был рад выбраться отсюда. В первой комнате две женщины лихорадочно что-то вязали из черной шерсти. Приходили люди, и младшая из них сновала взад и вперед, показывая им дорогу. Старуха же сидела на своем стуле. Ее ноги в матерчатых туфлях упирались в ножную грелку, а на коленях у нее лежала кошка. На голову она надела что-то накрахмаленное, белое, на щеке виднелась бородавка, а очки в серебряной оправе сползли на кончик носа. Она посмотрела на меня поверх очков. Этот беглый, равнодушный, спокойный взгляд смутил меня. Вошли двое молодых людей с глуповатыми веселыми физиономиями, и она окинула их тем же бесстрастным и мудрым взглядом. Казалось, ей все известно и о них и обо мне. Я смутился. В ней было что-то жуткое, роковое. Впоследствии я часто вспоминал этих двух женщин, которые охраняют врата тьмы и словно вяжут теплый саван из черной шерсти; одна все время провожает людей в неведомое, другая равнодушными старческими глазами всматривается в веселые глуповатые лица. Ave, старая вязальщица черной шерсти! Morituri te salutant[2]. Немногие из тех, на кого она смотрела, увидели ее еще раз…

Оставалось еще нанести визит доктору. «Простая формальность», – успокоил меня секретарь, казалось, деливший со мною мои горести. Вскоре какой-то молодой человек, в шляпе, надвинутой на левую бровь, – клерк, решил я, ибо должны были быть здесь и клерки, хотя дом казался безмолвным, как город мертвых, – спустился с верхнего этажа и повел меня дальше. Одет он был неопрятно и небрежно, рукава куртки были запятнаны чернилами, широкий пышный галстук красовался под подбородком, который формой своей походил на носок старого сапога. Для визита к доктору было еще слишком рано, и потому я предложил ему пойти чего-нибудь выпить. Он сразу развеселился. Когда мы уселись перед рюмками вермута, он начал восхвалять дела фирмы, а я выразил свое удивление по поводу того, что он не собирается туда проехаться. Тотчас же он стал сдержанным и холодным.

– Я не так глуп, как это кажется, сказал Платон своим ученикам, – произнес он сентенциозно, допил с решительным видом свой вермут, и мы встали.

Старик доктор пощупал мне пульс, думая, видимо, о чем-то другом.

– Так-так… прекрасно, – пробормотал он, а затем, вдруг оживившись, попросил разрешения измерить мой череп. Несколько удивленный, я дал свое согласие; тогда он извлек какой-то инструмент, напоминавший калиберный кронциркуль, и снял мерку спереди, сзади и со всех сторон, заботливо отмечая результаты измерений. Доктор был небритым маленьким человечком в поношенном сюртуке, похожем на длиннополый кафтан; на ногах у него были туфли, и он произвел на меня впечатление безобидного идиота.

---

[1] Удачного путешествия *(фр.)*.

[2] Идущие на смерть приветствуют тебя *(лат.)*.

– В интересах науки я всегда прошу разрешения измерить черепа тех, кто туда отправляется, – сказал он.

– И вы делаете то же, когда они возвращаются? – спросил я.

– О, мне больше не приходится с ними встречаться, – заметил он. – А кроме того, перемены происходят внутри.

Он улыбнулся с таким видом, словно мило пошутил.

– Итак, вы туда едете. Замечательно. И очень интересно.

Он бросил на меня испытующий взгляд и сделал еще какую-то отметку.

– Бывали ли случаи помешательства в вашей семье? – осведомился он деловито.

Я рассердился.

– Этот вопрос вы тоже задаете в интересах науки?

– С научной точки зрения, – сказал он, не обращая внимания на мое раздражение, – любопытно было бы наблюдать там, на месте, психическую перемену, происходящую в индивидууме, но…

– Вы психиатр? – перебил я.

– Каждый врач должен быть им – до известной степени, – невозмутимо ответил этот оригинал. – У меня есть одна теория, которую вы, господа, отправляющиеся в эти страны, должны мне помочь доказать. Моя страна пожнет плоды, владея такой прекрасной колонией, и я хочу внести свою долю. Богатство я предоставляю другим. Простите мне эти вопросы, но вы – первый англичанин, какого мне пришлось наблюдать…

Я поспешил его заверить, что отнюдь не являюсь типичным англичанином.

– А то бы я не стал с вами так разговаривать, – добавил я.

– То, что вы говорите, довольно глубокомысленно и, по всей вероятности, неверно, – сказал он со смехом. – Раздражения избегайте еще в большей степени, чем солнцепека. Прощайте. Как это вы, англичане, говорите? Good-bye. Ах да, good-bye. Прощайте. На тропиках прежде всего нужно сохранять спокойствие… – Он многозначительно поднял указательный палец. – Du calme, du calme[3]. Прощайте.

Теперь мне оставалось только попрощаться с моей превосходной теткой. Она торжествовала. Я выпил у нее чашку чаю – то была последняя чашка приличного чаю на многие-многие дни! В комнате, которая, действуя успокоительно, отвечала всем требованиям, какие вы предъявляете гостиной леди, мы долго и мирно беседовали у камина. Во время этой конфиденциальной беседы выяснилось для меня, что я был рекомендован жене высокого сановника (и скольким еще лицам – одному богу известно!) как существо исключительно одаренное – счастливая находка для фирмы! – как один из тех людей, которых вам не всякий день приходится встречать. А ведь я-то собирался командовать дешевеньким речным пароходом, украшенным грошовой трубой! Выяснилось также, что я буду одним из работников с прописной, видите ли, буквы. Что-то вроде посланника неба или апостола в меньшем масштабе. То было время, когда обо всей этой чепухе распространялись и устно и в печати, а славная женщина, наслушавшись таких речей, потеряла голову. Она толковала о «миллионах несведущих людей и искоренении ужасных их обычаев», и кончилось тем, что я почувствовал смущение. Я рискнул намекнуть, что в конце концов фирма поставила себе целью собирать барыши.

Вы забываете, милый Чарли, что по работе и заработок, весело отозвалась она. Любопытно, до какой степени женщины далеки от реальной жизни. Они живут в мире, ими же созданном, и ничего похожего на этот мир никогда не было и быть не может. Он слишком великолепен, и если бы они сделали его реальным, он бы рухнул еще до заката солнца. Один из тех злополучных фактов, с которыми мы, мужчины, миримся со дня творения, дал бы о себе знать и разрушил всю постройку.

---

[3] Спокойствие, спокойствие *(фр.)*.

Затем тетка меня поцеловала, попросила носить фланелевое белье, писать почаще, дала еще кое-какие наставления, и я ушел. На улице я, не знаю почему, почувствовал себя шарлатаном. Странное дело: принимая какое-либо решение, я привык через двадцать четыре часа ехать в любую часть света, размышляя при этом не больше, чем размышляет человек, собирающийся перейти через улицу, но теперь я на секунду, не скажу – поколебался, но как бы боязливо приостановился перед этим самым обычным путешествием. Чтобы объяснить вам свое состояние, скажу, что секунду-другую я чувствовал себя так, словно ехал не в глубь континента, но собирался проникнуть к центру земли.

Я отплыл на французском пароходе, который заходил во все жалкие порты, какие у них там имеются, с единственной, поскольку я мог судить, целью высадить в этих портах солдат и таможенных чиновников. Я смотрел на берега. Созерцание берегов, мимо которых проплывает судно, имеет что-то общее с размышлениями о тайне. Берег тянется перед вашими глазами, улыбающийся или нахмуренный, влекущий, величественный или жалкий и скучный, или дикий, но всегда безмолвный и в то же время как бы нашептывающий: «Приди и разгадай!» Здесь берег был расплывчатый, словно еще недоделанный, однообразный и угрюмый. Граница бескрайних зарослей – темно-зеленых, почти черных, обрамленных белой пеной прибоя, – тянулась прямо, как по линейке, вдоль сверкающего синего моря, подернутого ползучим туманом. Яростно жгло солнце, земля, казалось, светилась и испускала пар. Кое-где за белой полосой прибоя виднелись серовато-белые пятна и развевающийся над ними флаг. То были старые поселки, основанные несколько веков назад, но по сравнению с девственным пространством в глубине континента были они с булавочную головку.

Мы продвигались медленно, останавливались, высаживали солдат, снова отправлялись в путь, высаживали таможенных чиновников, которые должны были взимать пошлину в цинковых сараях, затерянных в этой глуши. Снова высаживали мы солдат, должно быть для того, чтобы они охраняли таможенных чиновников. Я узнал, что несколько человек утонули в волнах прибоя, но, казалось, никто не придавал этому значения. Мы просто выбрасывали людей на берег и шли дальше. Каждый день мы видели все тот же берег, словно стояли на одном месте, но позади осталось немало портов – торговые станции – с такими названиями, как Большой Бассам или Маленький Попо; эти имена, казалось, взяты были из жалкого фарса, разыгрывавшегося на фоне мрачного занавеса.

Мое безделье, как пассажира, одиночество мое среди всех этих людей, с которыми у меня не было точек соприкосновения, маслянистое и сонное море, однообразный темный берег – словно преграждали мне путь к реальности вещей, заслоняя ее тягостной и бессмысленной фантасмагорией. Доносившийся изредка шум прибоя доставлял подлинную радость, словно речь брата. Это было что-то естественное, имеющее причину и смысл. Иногда лодка, отчалившая от берега, давала на секунду возможность соприкоснуться с реальностью. Гребцами в ней были черные парни. Издали вы могли видеть, как сверкали белки их глаз. Они кричали, пели; пот струйками сбегал по телу; лица их напоминали гротескные маски; но у них были кости и мускулы, в них чувствовалась необузданная жизненная сила и напряженная энергия, и это было так же естественно и правдиво, как шум прибоя у берега. Чтобы объяснить свое присутствие, они не нуждались в оправдании. Их вид действовал успокоительно. Я чувствовал, что все еще нахожусь в мире непреложных фактов, но это ощущение было мимолетно – всегда что-нибудь его рассеивало.

Помню, однажды мы увидели военное судно, лежавшее на якоре у берега. Здесь не было ни одного шалаша, и тем не менее с судна обстреливали заросли. Видимо, в этих краях французы вели одну из своих войн. Флаг на мачте обвис, как тряпка; над низким кузовом торчали жерла длинных шестидюймовых орудий; маслянистые, грязные волны лениво поднимали и опускали судно, раскачивая его тонкие мачты. Вокруг не было ничего, кроме земли, неба и воды, однако загадочное судно обстреливало континент. Бум!.. грохнуло одно из шестидюймо-

вых орудий, мелькнуло и исчезло маленькое пламя, рассеялся белый дымок, слабо просвистел маленький снаряд и… ничего не случилось. Ничего и не могло случиться. Что-то безумное было во всей этой процедуре, что-то похоронное и комедийное, и впечатление это не рассеялось, когда кто-то на борту серьезнейшим образом заверил меня, что где-то здесь, скрытый от наших глаз, находится лагерь туземцев. Их он назвал врагами!

Мы передали письма на это одинокое судно (я слышал, что люди на борту умирали от лихорадки – по три человека в день) и продолжали путь. Заглянули еще в несколько портов с названиями, заимствованными из фарсов. Там, в душном, насыщенном песком воздухе, каким дышат в жарких катакомбах, шла веселая пляска коммерции и смерти вдоль бесформенных берегов, окаймленных гибельными волнами прибоя, – словно природа старалась преградить дорогу незваным гостям. То же происходило на реках и в их устьях – там, где берега превращались в грязь, где илистые воды заливали искривленные мангровые деревья, которые, казалось, корчились перед нами в бессильном отчаянии. Нигде не делали мы длительных остановок, и не было отчетливых впечатлений, но постепенно мною овладевало неясное и томительное удивление. Это походило на однообразное скитание по стране кошмаров.

Только через тридцать дней увидел я устье большой реки. Мы бросили якорь против здания правительственных учреждений. Но работа ждала меня не здесь, а дальше, на расстоянии двухсот миль отсюда. Вот почему при первой же возможности я отправился в местечко, расположенное на тридцать миль дальше, вверх по течению реки.

Ехал я на маленьком морском пароходе. Капитан его, швед, зная, что я моряк, пригласил меня на мостик. Это был молодой человек с прилизанными волосами, худой, белокурый и мрачный; ходил он, шаркая ногами. Когда мы отчалили от маленькой, жалкой пристани, он презрительно мотнул головой в сторону берега.

– Пожили здесь? – спросил он.

Я отвечал утвердительно.

– Недурное сборище эти чиновники, не правда ли? – продолжал он с горечью, старательно выговаривая английские слова. – Любопытно, какую работу берут на себя люди за несколько франков в месяц. Я задаю себе вопрос, каково им приходится, когда они попадают в глубь страны.

Я сказал ему, что в самом непродолжительном времени надеюсь это узнать.

– Вот как! – воскликнул он и прошелся по мостику, шаркая ногами и зорко посматривая вперед. – Не очень-то будьте уверены… Недавно я вез одного человека, который дорогой повесился. Он тоже был швед.

– Повесился! Боже мой! Но почему? – вскричал я.

Капитан не сводил глаз с реки.

– Кто знает? Быть может, солнце его одолело… или эта страна.

Наконец река стала шире. Показались насыпи у берега, скалистый утес, дома на холме и другие строения с железными крышами, прилепившиеся к склонам холма или рассеянные среди рытвин. Над этой картиной разрушения стоял неумолчный шум, так как дальше, вверх по течению, были на реке пороги. Люди, большей частью чернокожие и нагие, копошились, словно муравьи. В реку врезалась дамба. Иногда ослепительный солнечный свет словно смывал всю эту картину.

– Вот где помещается ваша фирма, – сказал швед, указывая на три деревянных казарменного вида строения на склоне утеса. – Я отправлю туда ваши вещи. Четыре сундука? Отлично. До свидания.

Я наткнулся на котел, лежавший в траве, потом разыскал тропинку, которая вела на холм. Она извивалась, уступая место каменным глыбам, а также маленькой железнодорожной вагонетке, перевернутой колесами вверх. Одного колеса не было. Вагонетка казалась мертвой, похожей на скелет какого-то животного. Я нашел отдельные части машины и сваленные в кучу

заржавленные рельсы. Слева группа деревьев отбрасывала тень, и там как будто двигались темные предметы. Я приостановился; тропинка была крутая. Справа затрубили в рог, и я увидел бегущих чернокожих. Раздался заглушенный гул, удар сотряс землю, облако дыма поднялось над утесом, и тем дело и кончилось. Вид скалы нимало не изменился. Они прокладывали железную дорогу. Утес нисколько им не мешал, но, кроме этих бесцельных взрывов, никакой работы не производилось.

За моей спиной послышалось тихое позвякиванье, заставившее меня оглянуться. Шестеро чернокожих гуськом поднимались по тропинке. Они шли медленно, каждый нес на голове небольшую корзинку с землей, а тихий звон совпадал с ритмом их шагов. Черные тряпки были обмотаны вокруг их бедер, а короткий конец тряпки болтался сзади, словно хвостик. Я мог разглядеть все ребра и суставы, выдававшиеся, как узлы на веревке. У каждого был надет на шее железный ошейник, и все они были соединены цепью, звенья которой висели между ними и ритмично позвякивали. Новый взрыв и гул, донесшийся с утеса, напомнили мне военное судно, обстреливавшее берег. То был такой же зловещий шум, но при самой пылкой фантазии нельзя было назвать этих людей врагами. Их называли преступниками, и оскорбленный закон, подобно разрывающимся снарядам, явился к ним, словно необъяснимая тайна, с моря. Тяжело дышали эти худые груди, трепетали раздутые ноздри, глаза тупо смотрели вверх. Они прошли на расстоянии нескольких дюймов от меня, не глядя в мою сторону, с невозмутимым, мрачным равнодушием, свойственным несчастным дикарям. За этими первобытными созданиями уныло шествовал один из обращенных – продукт, созданный новыми силами. Он нес ружье, которое держал за середину ствола. На форменном его кителе не хватало одной пуговицы. Заметив на тропинке белого человека, он торопливо вскинул ружье на плечо. То была мера предосторожности: издали все белые похожи друг на друга, и он не мог решить, кто я такой. Вскоре он успокоился, лукаво ухмыльнулся, показывая большие белые зубы, и бросил взгляд на вверенное ему стадо, словно обращая мое внимание на свою высокую миссию. В конце концов я тоже участвовал в этом великом деле, требовавшем проведения столь благородных и справедливых мер.

Вместо того чтобы подняться на холм, я свернул налево и стал спускаться. Мне хотелось, чтобы скрылись из виду эти люди, которых вели на цепи. Как вам известно, меня нельзя назвать особенно мягкосердечным: мне случалось наносить удары и защищаться. Я отражал нападение, а иногда сам нападал – что является одним из способов защиты, – не особенно размышляя о ценности той жизни, на которую я посягал. Я видел демона насилия и демона алчности, но, клянусь небом, то были сильные, дюжие, красноглазые демоны, а распоряжались и командовали они людьми – людьми, говорю вам! Теперь же, стоя на склоне холма, я понял, что в этой стране, залитой ослепительными лучами солнца, мне предстоит познакомиться с вялым, лицемерным, подслеповатым демоном хищничества и холодного безумия. Каким он мог быть коварным, я узнал лишь несколько месяцев спустя на расстоянии тысячи миль от этого холма. Секунду я стоял устрашенный, словно мне дано было предостережение. Наконец я стал спускаться с холма, направляясь к группе деревьев.

Я обошел огромную яму, вырытую неведомо для чего на склоне холма. Это была не каменоломня и не песочная яма, а просто дыра. Быть может, существование ее объяснялось филантропическим желанием придумать какое-нибудь занятие для преступников. Затем я чуть не упал в рытвину, узкую, словно щель. Туда свалены были дренажные трубы, привезенные для поселка. Не осталось ни одной трубы, которая не была бы разбита. Бессмысленное разрушение! Наконец я приблизился к деревьям, чтобы минутку отдохнуть в тени. Но не успел я войти в тень, как мне почудилось, что я вступил в мрачный круг ада. Пороги были близко, и неумолчный однообразный стремительный шум слышался в унылой роще, где ни один лист не шевелился; что-то таинственное было в этом шуме, который, казалось, вызван был головокружительным полетом Земли в пространстве.

Черные скорченные тела лежали и сидели между деревьями, прислоняясь к стволам, припадая к земле, полустертые в тусклом свете; позы их свидетельствовали о боли, безнадежности и отчаянии. Снова взорвался динамит на утесе, и земля дрогнула у меня под ногами. Работа шла своим чередом. Работа! А сюда шли умирать те, кто там работал.

Они умирали медленной смертью, это было ясно. Они не были врагами, не были преступниками, теперь в них не было ничего земного – остались лишь черные тени болезни и голода, лежащие в зеленоватом сумраке. Их доставляли со всего побережья, соблюдая все оговоренные контрактом условия; в незнакомой обстановке, получая непривычную для них пищу, они заболевали, теряли работоспособность, и тогда им позволяли уползать прочь. Эти смертники были свободны, как воздух, и почти так же прозрачны. В тени деревьев я начал различать блеск их глаз. Потом, посмотрев вниз, я увидел около своей руки чье-то лицо. Черное тело растянулось во всю длину, опираясь одним плечом о ствол дерева, медленно поднялись веки, и я увидел огромные тусклые ввалившиеся глаза; какой-то огонек, слепой, бесцветный, вспыхнул в них и медленно угас. Этот человек казался молодым, почти мальчиком, но вы знаете, как трудно определить их возраст. Я ничего иного не мог придумать, как предложить ему один из морских сухарей моего славного шведа, – сухари были у меня в кармане. Пальцы медленно его сжали; человек не сделал больше ни одного движения, не взглянул на меня. Шея его была повязана какой-то белой шерстинкой. Зачем? Где он ее достал? Был ли это отличительный его знак, украшение или амулет? Или ничего не было с ней связано? На черной шее она производила жуткое впечатление – эта белая нитка, привезенная из страны, лежащей за морями.

Неподалеку от этого дерева сидели, поджав ноги, еще два костлявых угловатых существа. Один из этих двух чернокожих, с остановившимся, невыносимо-жутким взглядом, уткнулся подбородком в колено; сосед его, похожий на привидение, опустил голову на колени, как бы угнетенный великой усталостью. Вокруг лежали, скорчившись, другие чернокожие, словно на картине, изображающей избиение или чуму. Пока я стоял, пораженный ужасом, один из этих людей приподнялся на руках и на четвереньках пополз к реке, чтобы напиться. Он пил, зачерпывая воду рукой, потом уселся, скрестив ноги, на солнцепеке, и немного спустя курчавая его голова поникла.

Мне уже не хотелось мешкать в тени, и я поспешно направился к торговой станции. Приблизившись к строениям, я встретил белого человека, одетого столь элегантно, что в первый момент я его принял за привидение. Я увидел высокий крахмальный воротничок, белые манжеты, легкий пиджак из альпага, белоснежные брюки, светлый галстук и вычищенные ботинки. Шляпы на нем не было. Волосы, гладко зачесанные и напомаженные, разделялись посередине пробором. Своей большой белой рукой он держал зонтик на зеленой подкладке. Он был изумителен, а за ухом у него торчала ручка.

Я пожал руку этому чудесному призраку и узнал, что он был главным бухгалтером фирмы, а вся бухгалтерия велась на этой станции. По его словам, он вышел на минутку «подышать свежим воздухом». Это замечание показалось мне очень странным, ибо оно наводило на мысль об усидчивой работе за конторкой. Я бы не стал упоминать о бухгалтере, если б он не был первым, кто назвал мне имя человека, неразрывно связанного с воспоминаниями об этом времени. Кроме того, я чувствовал уважение к парню. Да, я уважал его воротнички, его широкие манжеты, его аккуратную прическу. Правда, он был похож на парикмахерскую, куклу, но, несмотря на деморализующее влияние страны, он заботился о своей внешности. В этом проявлялась сила характера. Его накрахмаленные воротнички и выглаженные манишки были своего рода достижением; впоследствии я не мог удержаться, чтобы не спросить, каким образом удалось ему этого добиться. Он чуть-чуть покраснел и скромно ответил:

– Я вымуштровал одну из туземных женщин на станции. Это было нелегко. Такая работа пришлась ей не по вкусу.

Таким образом этот человек действительно сделал какое-то дело. А кроме того, он был предан своим книгам, которые содержались в образцовом порядке.

Зато на станции неразбериха была полная, – вещи в беспорядке, беспорядок в домах, путаница в головах. То и дело приходили и уходили вереницы запыленных негров с плоскими ступнями. Фабричные товары, скверные бумажные ткани, бусы и латунная проволока доставлялись в царство тьмы в обмен на драгоценную слоновую кость.

На станции мне пришлось провести десять дней – вечность! Я жил в хижине во дворе, но, спасаясь от хаоса, частенько заглядывал в контору бухгалтера. Это было дощатое строение, а доски так плохо были прилажены, что, когда бухгалтер склонялся над своей высокой конторкой, на него, от затылка до каблуков, ложились узкие полоски солнечного света. Хотя большие ставни оставались закрытыми, в комнате было светло и жарко; враждебно жужжали крупные мухи, которые не жалили, но больно кололи. Обычно я усаживался на пол, а бухгалтер в своем безупречном костюме (и даже слегка надушенный) сидел на высоком табурете и писал без устали. Иногда он вставал, чтобы размять ноги. Когда однажды в комнату внесли на раскладной кровати больного (какого-то агента, занемогшего и доставленного сюда из глубины страны), бухгалтер выразил слабое неудовольствие.

– Стоны больного, – говорил он, – отвлекают мое внимание. В этом климате очень трудно сосредоточиться и не наделать ошибок.

Однажды он заметил, не поднимая головы:

– В глубине страны вы, несомненно, встретите мистера Куртца.

На мой вопрос, кто такой мистер Куртц, он ответил, что это один из первоклассных агентов, а заметив мой разочарованный вид, медленно произнес, кладя ручку на стол:

– Это замечательная личность.

Я стал задавать вопросы и выяснил, что мистер Куртц заведует одной из очень важных торговых станций в самом сердце страны слоновой кости.

– Он присылает сюда слоновой кости больше, чем все остальные станции, вместе взятые.

Бухгалтер снова взялся за перо. Больной чувствовал себя так скверно, что даже не стонал. Мирно жужжали мухи.

Вдруг послышался все нарастающий гул голосов и топот. Только что пришел караван. За дощатой стеной громко тараторили хриплые голоса. Все носильщики говорили одновременно, а из этого гула вырывался жалобный голос главного агента, который – в двадцатый раз за этот день – плаксиво повторял, что он умывает руки… Бухгалтер медленно встал.

– Какой шум! – сказал он. Тихонько прошел он по комнате, чтобы взглянуть на больного, и, возвращаясь на свое место, сообщил мне: – Он не слышит.

– Как! Умер? – спросил я, вздрогнув.

– Нет еще, – ответил он с величайшим спокойствием и мотнул головой, давая понять, что шум во дворе ему мешает. – Когда приходится вести бухгалтерские книги, доходишь до того, что начинаешь ненавидеть этих дикарей – смертельно ненавидеть.

На секунду он задумался, потом продолжал:

– Когда увидите мистера Куртца, передайте ему от меня, что здесь, – тут он бросил взгляд на свою конторку, – все идет прекрасно. Я не хочу ему писать: давая письмо нашим курьерам, вы никогда не знаете, в чьи руки оно попадет… на этой Центральной станции. – Он посмотрел на меня своими кроткими выпуклыми глазами и снова заговорил: – О, он далеко пойдет. Он скоро будет шишкой среди администраторов. Эти господа – я имею в виду правление в Европе – намерены его продвинуть.

Он вернулся к своей работе. Шум снаружи затих. Собираясь уйти, я приостановился в дверях. В комнате, где слышалось неумолчное жужжание мух, агент, которого собирались отправить на родину, лежал в жару и без сознания; бухгалтер, склонившись над столом, вносил

в свои точные отчеты точные записи, а на расстоянии пятидесяти футов от двери виднелись неподвижные деревья рощи смерти.

На следующий день я наконец покинул станцию с караваном – с отрядом в шестьдесят человек. Нам предстояло пройти пешком двести миль.

Не стоит распространяться об этом путешествии. Тропинки, тропинки повсюду; сеть тропинок, раскинувшаяся по пустынной стране; тропинки в высокой траве и в траве, опаленной солнцем; тропинки, пробивающиеся сквозь заросли, сбегающие в прохладные ущелья, поднимающиеся на каменистые холмы, раскаленные от жары. И безлюдье: ни одного человека, ни одной хижины. Население давно разбежалось. Ну что ж… если б толпа таинственных негров, носителей смертоносного оружия, вздумала странствовать по дороге между Дилем и Грейвсэндом, хватая за шиворот поселян и заставляя их тащить тяжелую ношу, я думаю, понадобилось бы немного времени, чтобы опустели все окрестные фермы и коттеджи. Но здесь и жилища тоже исчезли. Все-таки мы прошли через несколько покинутых деревень. Есть что-то трогательно-детское в развалинах стен из травы.

День проходил за днем; за моей спиной раздавался топот шестидесяти босоногих негров, и каждый тащил на себе шестидесятифунтовую ношу. Лагерь, стряпня, сон; потом снова поход. Иногда нам попадался носильщик, умерший в дороге и лежавший в высокой траве, а рядом с ним валялась его палка и пустой сосуд из тыквы. Вокруг и над нами великое молчание. Часто в тихие ночи слышался далекий бой барабанов, то затихающий, то нарастающий, – звуки жуткие, манящие, призывные, дикие и, быть может, исполненные такого же глубокого значения, как звон колоколов в христианской стране.

Однажды нам повстречался белый человек в расстегнутом форменном кителе, расположившийся на тропинке со своей вооруженной свитой – тощими занзибарами, – парень очень гостеприимный и веселый, чтобы не сказать – пьяный. Он объявил, что следит за ремонтом дорог. Не могу сказать, чтобы я видел хоть какую-нибудь дорогу или какой-нибудь ремонт, но, пройдя три мили, я буквально наткнулся на тело пожилого негра, убитого пулей, попавшей ему в лоб; быть может, это и свидетельствовало о мерах, предпринятых для улучшения дорог. Со мной был спутник – белый; неплохой парень, но слишком жирный и обнаруживший досадную привычку падать в обморок всякий раз, когда мы поднимались по склону раскаленного холма и несколько миль отделяли нас от воды и тени. Раздражает, знаете ли, держать на манер зонтика вашу собственную куртку над головой человека, пока он не придет в чувство. Я не мог удержаться, чтобы не спросить его, для чего он, собственно, сюда приехал.

– Денег заработать, конечно. А вы что думали? – сказал он презрительно. Потом он заболел лихорадкой, и пришлось его нести в гамаке, подвешенном к шесту. Так как весил он больше двухсот фунтов, то я все время воевал с носильщиками. Они топтались на одном месте, разбегались, удирали по ночам… Настоящий мятеж! Как-то вечером я обратился к ним с речью на английском языке, сопровождая ее жестами, за которыми следили шестьдесят пар глаз, а на следующее утро мы отправились в путь, причем чернокожие, тащившие гамак, шли впереди. Час спустя я нашел в кустах всю поклажу – гамак, одеяла, стонущего человека. Тяжелый шест содрал бедняге кожу с носа. Парню очень хотелось, чтобы я кого-нибудь убил, но нигде не видно было даже тени носильщиков. Я вспомнил слова старого доктора: «С научной точки зрения любопытно было бы наблюдать там, на месте, перемену, происходящую в индивидууме». Я почувствовал, что во мне пробуждается научный интерес. Впрочем, все это к делу не относится.

На пятнадцатый день я снова увидел большую реку, и мы доковыляли до Центральной станции. Она расположена была у заводи, окруженной кустарником и лесом; станция была обнесена с трех сторон старой изгородью из тростника, а с одной стороны тянулась полоса вонючей грязи. Ворот не было – вместо них в изгороди зияла дыра; достаточно было одного взгляда, чтобы понять: здесь всем распоряжается чахлый демон лени. Белые люди с длинными

палками в руках лениво бродили между строениями, подходили, чтобы взглянуть на меня, а затем скрывались из виду. Один из них, дюжий, вспыльчивый парень с черными усами, узнав, кто я такой, сообщил мне, не жалея слов и прибегая к ненужным отступлениям, что пароход мой покоится на дне реки. Я был как громом поражен. Что, как, почему? О, все «в порядке». «Сам начальник» при этом присутствовал. Все в полном порядке.

– Все держали себя превосходно… превосходно! Вы должны, – продолжал он, волнуясь, – сейчас же повидаться с начальником. Он ждет!

Тогда я не понял подлинного значения этой катастрофы. Думаю, что теперь я понимаю… хотя отнюдь не уверен. Когда я об этом размышляю, происшествие кажется мне слишком нелепым, чтобы быть естественным… А впрочем… но в тот момент я к этому отнесся просто как к досадной помехе. Пароход затонул. Два дня назад они, внезапно всполошившись, отправились на пароходе вверх по реке. Начальник торговой станции находился на борту, а кто-то вызвался исполнять обязанности шкипера. Не прошло и трех часов, как они наскочили на камни, сорвали дно, и пароход затонул около южного берега. Я задавал себе вопрос, что мне делать теперь, когда судно мое погибло. Выяснилось, что дел у меня будет выше головы, так как я должен был выудить из реки свой пароход. За это я принялся на следующий же день. Затем, доставив обломки на станцию, я взялся за починку, и на все это ушло несколько месяцев.

Любопытной оказалась первая моя встреча с начальником станции. Хотя в то утро я прошел пешком двадцать миль, он не предложил мне сесть. У этого человека была самая обыкновенная физиономия, манеры, голос. Роста он был среднего, сложен пропорционально. Пожалуй, в глазах его весьма обычного цвета было что-то необычно холодное, а взгляд его падал на вас острый и тяжелый, как топор. Но даже в такие минуты весь его вид, казалось, противоречил впечатлению, какое производил этот взгляд. Иногда губы его складывались как-то странно – было в этом что-то мимолетное, ускользающее: улыбка – не улыбка, – я ее помню, но не могу объяснить. Она появлялась помимо его воли, через секунду после того, как он договаривал фразу, появлялась в конце его речи, словно печать, скрепляющая слова и делающая банальную фразу загадочной.

Он был самым обыкновенным торговцем и с ранних лет работал в этих краях. Его слушались, однако он не внушал ни страха, ни любви, ни даже уважения. В его присутствии люди ощущали неловкость. Вот именно! Не то чтобы недоверие, а просто неловкость. Вы не можете себе представить, какое значение имеет такая… такая способность вызывать ощущение неловкости. Он не умел организовывать, проявлять инициативу или хотя бы поддерживать порядок. Это видно было по тому, в каком плачевном состоянии находилась станция. У него не было ни ума, ни образования. Почему же в таком случае занимал он этот пост? Быть может, потому, что он никогда не болел. Он служил девять лет, получая отпуск через каждые три года. Могучее здоровье само по себе имеет большое значение там, где не выдерживает самый крепкий человек. Отправляясь на родину, в отпуск, он устраивал торжественное празднество: так веселится, сойдя на берег, матрос; впрочем, сходство было только поверхностное. Это можно было угадать по тем словам, какие он бросал в разговоре. Ничего нового он не создал; он только поддерживал рутину – и этим дело ограничивалось. Но все-таки он был великим человеком, так как нельзя было угадать, чем можно обуздать его. Этого секрета он так и не выдал. Быть может, он ровно ничего собой не представлял. Такое поведение заставляло призадуматься, ибо там не было ничего, что могло бы его сдерживать.

Однажды, когда различные тропические болезни свалили с ног почти всех агентов на станции, он заявил, что «людям, сюда приезжающим, не следовало бы иметь никаких внутренних органов». Эту фразу он скрепил своей улыбкой – словно приоткрыл на секунду дверь в царство тьмы, у которой стоял на страже. Вам чудилось, что вы что-то разглядели, но печать уже снова была наложена. Когда ему надоели обеденные ссоры, постоянно возникавшие между белыми из-за того, кому сидеть за столом на председательском месте, он приказал сделать

огромный круглый стол, для которого пришлось выстроить специальный дом. В этом доме устроили столовую. Первое место было там, где он сидел; остальные места в счет не шли. Ясно было, что в этом он твердо убежден. «Учтивый», «неучтивый» – эти определения к нему не подходили. Он был флегматичен. Он разрешал своему «бою» – откормленному молодому негру с побережья – третировать белых нахально и дерзко у него на глазах.

Увидев меня, он тотчас же стал говорить. Я слишком замешкался в пути. Он не мог ждать. Пришлось поехать без меня. Нужно было посетить станции в верховьях реки. Времени и так уже прошло немало, и он не знал, кто умер, кто жив, в каком состоянии находятся дела и т. д. и т. д. На мое объяснение он не обратил ни малейшего внимания и, играя палочкой сургуча, несколько раз повторил, что положение «очень серьезно, очень серьезно». Ходят слухи, что одной из важнейших станций угрожает опасность и что начальник ее – мистер Куртц – болен. Он выразил надежду, что слухи эти ложны. Мистер Куртц… Я был утомлен и нервничал. «Черт бы побрал Куртца!» – подумал я и перебил его, заявив, что о мистере Куртце мне говорили на побережье.

– А, значит, там о нем говорят, – прошептал он себе под нос. Потом стал меня уверять, что мистер Куртц – лучший его агент, исключительный человек и ценный работник для фирмы; таким образом, мне должно быть понятно его беспокойство. И он еще раз повторил, что очень взволнован. Действительно, он, все время ерзая на стуле, воскликнул: «Ах, мистер Куртц!» – сломал палочку сургуча и, казалось, был потрясен происшествием с пароходом. Затем он пожелал узнать, сколько времени мне понадобится, чтобы…

Я снова его перебил. Я, видите ли, был голоден, он не предложил мне сесть, и теперь злоба меня душила.

– Как я могу сказать? – воскликнул я. – Я даже не видел затонувшего судна… несколько месяцев, должно быть.

Весь этот разговор казался мне таким бессмысленным.

– Несколько месяцев, – повторил он. – Ну что ж! Скажем, через три месяца можно будет отправиться в путь. Да, три месяца… этого достаточно.

Я вылетел из его хижины (он один занимал обмазанную глиной хижину с верандой), бормоча себе под нос свое мнение о нем. Болтун и идиот! Впоследствии я отказался от этих слов, ибо мне пришлось констатировать, что он с изумительной точностью определил срок, потребовавшийся для проведения работ.

На следующий день я взялся за дело и повернулся, так сказать, спиной к станции. Только таким образом, казалось мне, смогу я сохранить спасительную связь с реальными фактами. Все-таки иной раз мне приходилось оглядываться, и тогда я видел эту станцию и этих людей, бесцельно бродивших по залитому солнцем двору. Иногда я задавал себе вопрос, что все это значит. Они разгуливали со своими нелепыми длинными палками, словно толпа изменивших вере пилигримов, которые поддались волшебным чарам и обречены оставаться за гниющей изгородью. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, звучали в шепоте и вздохах. Можно было подумать, что они обращаются к ней с молитвами. Над ними, словно запах разлагающегося трупа, витал аромат нелепого хищничества. Ей-богу, в этом не было ничего похожего на реальную жизнь! А немая глушь, подступившая к этому расчищенному клочку земли, казалась мне чем-то великим и непобедимым, как зло или истина, терпеливо ожидающим конца этого фантастического вторжения.

Ах, эти месяцы!.. Но не буду на них останавливаться. Случались различные события. Как-то вечером соломенный сарай, где сложены были коленкоровые и ситцевые ткани, бусы и всякая всячина, внезапно загорелся, словно мстительное пламя вырвалось из земли, чтобы истребить весь этот хлам. Я спокойно курил трубку, сидя около моего разбитого парохода, и видел, как они, освещенные заревом, прыгали и воздевали руки к небу. Усатый толстяк спустился к реке, держа в руке жестяное ведро, и стал меня уверять, что все «ведут себя превос-

ходно, превосходно». Зачерпнув воды, он помчался назад. Я заметил, что ведро его продырявлено.

Медленно побрел я на станцию. Спешить было незачем. Сарай вспыхнул, словно коробка спичек, и ничего нельзя было поделать. Пламя рванулось к небу, заставив всех отступить, осветило все вокруг и съежилось. Сарай превратился в кучу ярко тлеющих углей. Неподалеку били какого-то негра. По слухам, он был виновником пожара. Как бы то ни было, но он отчаянно выл. Я видел позднее, в течение нескольких дней: он сидел в тени, совсем больной, и старался прийти в себя; потом он поднялся и ушел, и немые дебри снова приняли его в свое лоно.

Выбравшись из темноты к пожарищу, я очутился за спинами двух людей, которые вели беседу. Я услышал имя Куртца, затем слова: «Воспользоваться этим печальным случаем». Одним из собеседников оказался начальник станции. Я пожелал ему доброго вечера.

– Приходилось ли вам видеть что-либо подобное, а? Это невероятно, – сказал он и отошел. Другой остался. Это был агент первого разряда, молодой, элегантный, сдержанный, с маленькой раздвоенной бородкой и крючковатым носом. С другими агентами он держал себя высокомерно, а те, со своей стороны, утверждали, что начальник станции приставил его за ними шпионить. До этого дня я не обменялся с ним и несколькими словами. Сейчас у нас завязался разговор, и мы отошли от тлеющих развалин. Он предложил мне зайти в его комнату, которая находилась в главном строении. Когда он зажег спичку, я увидел, что этот молодой аристократ не только пользуется туалетными принадлежностями в серебряной оправе, но и имеет в своем распоряжении свечу – целую свечу. В ту пору все считали, что только начальник станции имеет право пользоваться свечами. Глиняные стены были затянуты туземными циновками; копья, ассегаи, щиты, ножи были развешаны в виде трофеев.

Мне было известно, что этому человеку поручено делать кирпичи, но на станции вы бы не нашли ни кусочка кирпича, а он провел здесь больше года… в ожидании. Кажется, для выделки кирпичей ему чего-то не хватало – не знаю, чего… быть может, соломы. Во всяком случае, этого материала нельзя было здесь достать, и вряд ли его собирались прислать из Европы; таким образом, я не мог себе уяснить, чего, собственно, он ждет. Может быть, особого акта творения? Как бы то ни было, но все они чего-то ждали – все эти шестнадцать или двадцать пилигримов; честное слово, это занятие им нравилось, если судить по тому, как они к нему относились, но, насколько мне было известно, они до сих пор не дождались ничего, кроме болезней. Время они убивали ссорами и самыми нелепыми интригами. В воздухе пахло заговорами, но из этого, конечно, ничего не вышло. Заговоры были так же нереальны, как и все остальное – как филантропические стремления фирмы, как громкие их фразы, их правление и работа напоказ. Единственным реальным чувством было желание попасть на торговую станцию, где можно раздобыть слоновую кость и, следовательно, получить проценты. Вот почему они интриговали, злословили и ненавидели друг друга, но никто не потрудился хотя бы пошевельнуть мизинцем. Есть в конце концов какая-то причина, по которой люди позволяют одному украсть лошадь, тогда как другой даже поглядеть не смеет на недоуздок. Лошадь украдена. Ну что ж! Вор пошел напрямик. Быть может, он умеет ездить верхом. Но иной так посмотрит на недоуздок, что самый добродушный человек не вытерпит и даст пинка.

Я понятия не имел, почему ему вздумалось быть столь общительным, но пока мы болтали, мне вдруг пришло в голову, что парень чего-то добивается – хочет из меня что-то вытянуть. Он все время заговаривал о Европе, о людях, которых я, по его мнению, должен был там знать, ставил наводящие вопросы о городе-гробе и т. д. Маленькие глазки его блестели, как кусочки слюды, хотя он и старался держать себя надменно.

Сначала я недоумевал, потом мне стало любопытно, что именно хочет он от меня узнать. Я не представлял себе, чем мог я его так заинтересовать, ибо в действительности ничего интересного во мне не было: меня лихорадило, а голова забита была мыслями об этом злополучном происшествии с пароходом. Забавно было видеть, как он сам себя сбивает с толку, принимая

меня, очевидно, за бесстыдного плута. Наконец он потерял терпение и, чтобы скрыть свою досаду, зевнул. Я поднялся, и тут взгляд мой упал на маленький эскиз масляными красками на тонкой доске, изображающий закутанную женщину с завязанными глазами, которая держит в руке горящий факел. Фон был темный, почти черный. Женщина казалась величественной, и что-то зловещее было в ее лице, освещенном факелом.

Я приостановился, а он вежливо стоял подле меня, держа пустую бутылку из-под шампанского (медицинское снадобье) с воткнутой в нее свечкой. На мой вопрос он ответил, что картина писана мистером Куртцем на этой самой станции больше года тому назад, пока он ждал оказии, чтобы добраться до своего поста.

– Скажите мне, пожалуйста, – попросил я, – кто такой этот мистер Куртц?

– Начальник Внутренней станции, – коротко ответил он, глядя в сторону.

– Благодарю вас, – со смехом отозвался я. – А вы выделываете кирпичи на Центральной станции. Все это знают.

Минутку он помолчал, потом произнес:

– Куртц – диковинка. Он посланец милосердия, науки, прогресса и черт знает чего еще. Для ведения дела, – начал он вдруг декламировать, – доверенного нам Европой, нам нужен великий ум, умение сострадать, устремленность к единой цели.

– Кто это говорит? – спросил я.

– Очень многие, – отозвался он. – Иные даже пишут об этом. И вот он является сюда – исключительная личность, как вам, должно быть, известно.

– Почему я должен это знать? – с удивлением перебил я.

Он не обратил на меня внимания.

– Да. Сегодня он стоит во главе лучшей станции, на следующий год он будет помощником начальника Центральной станции, еще два года – и… Но, полагаю, вам известно, кем он будет через два года. Вы принадлежите к этой новой банде – банде служителей добродетели. Люди, которые прислали его сюда, рекомендовали также и вас. О, не отрицайте. Я не слепой!

Теперь все было ясно. Влиятельные знакомые моей славной тетушки произвели неожиданное впечатление на этого молодого человека. Я чуть не расхохотался.

– Значит, вы читаете секретную корреспонденцию фирмы? – спросил я.

Он не нашелся, что ответить. Это было очень забавно. Я сурово сказал:

– Вам придется распрощаться с этой привилегией, когда мистер Куртц будет начальником всех станций.

Неожиданно он задул свечу, и мы вышли. Взошла луна. Вяло бродили черные тени, поливая водой тлеющие угли, после чего раздавалось шипенье; облако пара поднималось в лунном свете; где-то стонал избитый негр.

– Как ревет эта скотина! – воскликнул неутомимый усатый парень, внезапно появляясь около нас. – Поделом ему! Преступление… наказание… готово! Безжалостно, безжалостно, но это единственный способ. Это положит конец всяким пожарам. Я только что говорил начальнику… – Тут он заметил моего спутника и сразу оробел. – Вы еще не спите? – пробормотал он с раболепной вежливостью. – Ну конечно! Это так естественно. Да! Опасность, волнение…

Он скрылся. Я пошел к реке, а тот последовал за мной. У самого моего уха раздался его злобный шепот:

– Сборище идиотов!

Видны были группы пилигримов, жестикулировавших, споривших. Некоторые все еще держали в руках свои посохи. Я думаю, они и спать ложились с ними. За изгородью виднелся лес, призрачный в лунном свете. Заглушая тихие шорохи и звуки, наполнявшие жалкий двор, молчание этой страны проникало в самое сердце – тайна страны, ее величие и потрясающая реальность невидимой ее жизни. Где-то неподалеку слабо стонал избитый негр, а потом вздох-

нул так глубоко, что я поспешил отойти подальше. Я почувствовал, как чья-то рука скользнула под мою руку.

– Дорогой сэр, – сказал мой спутник, – я не хочу быть непонятым вами – вами, который увидит мистера Куртца гораздо раньше, чем буду иметь это удовольствие я. Мне бы не хотелось, чтобы он составил себе ложное представление о моем отношении.

Я дал выговориться этому Мефистофелю из папье-маше, и мне чудилось, что, если б я попробовал проткнуть его пальцем, внутри у него ничего бы не оказалось, кроме жидкой грязи. Он, видите ли, рассчитывал сделаться в скором времени помощником теперешнего начальника, и я понимал, что приезд этого Куртца очень беспокоит их обоих. Говорил он торопливо, и я не пытался его остановить. Я стоял, прислонившись плечом к своему разбитому пароходу, который лежал на берегу, словно скелет какого-то огромного речного животного. Запах грязи – первобытной грязи! – щекотал мне ноздри; перед глазами моими вставал величественный и безмолвный первобытный лес; блестящие пятна легли на черную гладь залива. Луна набросила тонкое серебряное покрывало на густую траву, на грязный берег, на стену переплетенной листвы, поднимавшуюся выше, чем стены храма, на могучую реку – я видел сквозь темный прорыв, как она безмолвно катит свои сверкающие воды. Во всем было величие, ожидание, немота, а этот человек бормотал что-то о себе. Видя это спокойствие на обращенном к нам лике необъятного пространства, я задавал себе вопрос: нужно ли видеть в этом призыв или угрозу? Кто мы, забравшиеся сюда? Сможем ли мы подчинить эту немую глушь, или она не подчинится? Я чувствовал величие этой глуши, немой и, быть может, лишенной слуха. Что таилось в ней? Я знал – оттуда мы получали немного слоновой кости, а также слыхал, что там обитает мистер Куртц. О да, о нем мне прожужжали уши! Однако я его представлял себе не лучше, чем если бы мне сказали, что там живет ангел или черт. Я этому верил так же, как вы можете верить, что есть живые существа на Марсе. Я знал одного шотландца-парусника, который был глубоко убежден, что на Марсе есть люди. Если вы его спрашивали, какой вид они имеют или как они себя держат, он робел и бормотал, что они «ходят на четвереньках». Достаточно вам было улыбнуться, чтобы он – шестидесятилетний старик – вступил с вами в драку.

Я еще не зашел так далеко, чтобы драться из-за Куртца, но уже готов был ради него пойти на ложь. Вы знаете: ложь я ненавижу, не выношу ее не потому, что я честнее других людей, но просто потому, что она меня страшит. Во всякой лжи есть привкус смерти, запах гниения – как раз то, что я ненавижу в мире, о чем хотел бы позабыть. Ложь делает меня несчастным, вызывает тошноту, словно я съел что-то гнилое. Должно быть, такова уж моя природа. Но теперь я готов был допустить, чтобы этот молодой идиот остался при своем мнении по вопросу о том, каким влиянием пользуюсь я в Европе. В одну секунду я сделался таким же притворщиком, как и все эти зачарованные пилигримы. Мне пришло в голову, что таким путем я могу помочь Куртцу, которого в то время я еще ни разу не видел. Для меня он был только именем. Человека, скрывавшегося за этим именем, я видел не лучше, чем видите вы. А видите ли вы его? Видите ли этот рассказ? Видите ли хоть что-нибудь? Мне кажется, что я пытаюсь рассказать вам сон – делаю тщетную попытку, ибо нельзя передать словами ощущение сна, эту смесь нелепицы, удивления, недоумения и нарастающего возмущения, когда вы чувствуете, что стали добычей невероятного, каковое и является самой сущностью сновидения…

Марлоу на секунду умолк.

– …Нет, это невозможно, невозможно передать, как чувствуешь жизнь в какой-либо определенный период, невозможно передать то, что есть истина, смысл и цель этой жизни. Мы живем и грезим в одиночестве…

Он снова задумался, потом добавил:

– Конечно, вы, друзья, можете видеть сейчас больше, чем видел тогда я. Вы видите меня, которого знаете…

Сумерки сгустились, и мы – слушатели – едва могли разглядеть друг друга. Марлоу, сидевший в стороне, давно уже стал для нас невидимым, и мы слышали только его голос. Никто не произнес ни слова. Остальные, быть может, спали, но я бодрствовал. Я слушал, слушал, подстерегая фразу или слово, которое разъяснило бы мне смутное ощущение беспокойства, вызванного этим рассказом. И слова, казалось, не срывались с губ человека, а падали из тяжелого ночного воздуха, нависшего над рекой.

– …Да, я не мешал ему говорить, – снова начал Марлоу, – не мешал думать что угодно о влиятельных особах, стоявших за моей спиной. Я это сделал! А за моей спиной не было никого и ничего! Ничего, кроме этого несчастного старого искалеченного парохода, к которому я прислонился, пока он плавно говорил о «необходимости для каждого человека продвинуться в жизни». «И, вы понимаете, сюда приезжают не затем, чтобы глазеть на луну». Мистер Куртц был «универсальным гением», но даже гению легче работать с «соответствующими инструментами – умными людьми». Он – мой собеседник – не выделывал кирпичей: не было материалов, как я сам прекрасно знаю; а если он выполнял обязанности секретаря, то «разве разумный человек станет ни с того ни с сего отказываться от знаков доверия со стороны начальства?»

Понятно ли мне это? Понятно. Чего же мне еще нужно?.. Клянусь небом, мне нужны были заклепки! Заклепки. Чтобы продолжать работу… заткнуть дыру. В заклепках я нуждался. На побережье я видел ящики с заклепками, ящики открытые, разбитые. Во дворе той станции на холме вы на каждом шагу натыкались на брошенную заклепку. Заклепки докатились до рощи смерти. Вам стоило только наклониться, чтобы набить себе карманы заклепками, – а здесь, где они были так нужны, вы не могли найти ни одной заклепки. В нашем распоряжении были листы железа, но нечем было их закрепить. Каждую неделю чернокожий курьер, взвалив на спину мешок с письмами и взяв в руку палку, отправлялся с нашей станции к устью реки. И несколько раз в неделю с побережья приходил караван с товарами – с дрянным глянцевитым коленкором, на который противно было смотреть, со стеклянными бусами по пенни за кварту, с отвратительными пестрыми бумажными платками. Но ни одной заклепки. А ведь три носильщика могли принести все, что требовалось для того, чтобы спустить судно на воду. Теперь мой собеседник стал фамильярным, но, кажется, мое сдержанное молчание наконец его раздосадовало, ибо он счел нужным меня уведомить, что не боится ни бога, ни черта, не говоря уже о людях. Я ему сказал, что нимало в этом не сомневаюсь, но что в данный момент мне нужны заклепки, и того же пожелал бы и мистер Куртц, если бы об этом знал. Письма отправляют каждую неделю…

– Дорогой сэр, – воскликнул он, – я пишу то, что мне диктуют! Я потребовал заклепок. Умный человек найдет способ…

Он изменил свое обращение: стал очень холоден и вдруг перевел разговор на гиппопотама; поинтересовался, не мешает ли он мне, когда я сплю на борту (ибо я не покидал парохода ни днем, ни ночью). У этого старого гиппопотама была скверная привычка вылезать ночью на берег и бродить вокруг станции. В таких случаях пилигримы выходили на него толпой и стреляли из всех ружей, какие им попадались под руку. Некоторые караулили ночи напролет. Но вся энергия была израсходована даром.

– У этого животного должен быть какой-то амулет, защищающий его, – пояснил он мне, – но здесь это можно сказать только о животных. В этой стране ни один человек – вы меня понимаете? – ни один человек не имеет амулета, охраняющего его жизнь.

Он остановился, освещенный луной, тонкий горбатый нос был слегка искривлен, слюдяные глазки поблескивали, он вежливо пожелал мне спокойной ночи и удалился. Я видел, что он взволнован и заинтригован, и это сильно меня обнадежило. Было великим утешением, расставшись с этим парнем, повернуться лицом к моему влиятельному другу – разбитому, искале-

ченному, продырявленному горшку – пароходу. Я вскарабкался на борт. Судно задребезжало у меня под ногами, словно пустая жестянка из-под сухарей Хентли и Палмера, отброшенная ногой в канаву; впрочем, судно было далеко не так прочно и изящно, но я столько над ним потрудился, что не мог не привязаться к нему. Судно давало мне возможность проверить в какой-то мере себя, испытать мои силы. Нет, работы я не люблю. Я предпочитаю бездельничать и мечтать о том, сколько чудесного можно было бы сделать. Я не люблю работы – никто ее не любит, – но мне нравится, что она дает нам возможность найти себя, наше подлинное «я», скрытое от всех остальных, найти его для себя, не для других. Люди видят лишь внешнюю оболочку и никогда не могут сказать, что за ней скрывается.

Я нисколько не удивился, увидав, что кто-то сидит на палубе, свесив ноги за борт. Я, видите ли, подружился с несколькими механиками, которые жили на станции. Остальные пилигримы, конечно, их презирали… Должно быть, потому, что их манеры оставляли желать лучшего. На корме сидел надсмотрщик – котельщик по профессии, – хороший работник. Это был тощий, костлявый, желтолицый человек с большими внимательными глазами. Вид у него был озабоченный, череп голый, как моя ладонь; но волосы, выпадая, казалось, прилипли к подбородку и прекрасно привились на новом месте, так как борода его доходила до пояса. Он был вдовцом с шестью маленькими детьми (чтобы приехать сюда, он их оставил на попечение сестры) и питал страсть к голубям. О них он говорил с восторгом, как знаток и энтузиаст. После работы он частенько приходил ко мне из своей хижины, чтобы потолковать о своих детях и своих голубях. В рабочие часы, когда ему приходилось ползать в грязи под килем парохода, он обвязывал свою бороду чем-то вроде белой салфетки. К салфетке приделаны были петли, надевавшиеся на уши. По вечерам он, присев на корточки, старательно стирал свою тряпку в заливчике, а потом торжественно вешал ее на куст для просушки.

Я хлопнул его по спине и крикнул:

– У нас будут заклепки!

Он поднялся на ноги, восклицая:

– Да что вы! Заклепки! – словно не верил своим ушам. Потом понизил голос: – Вы… а?

Не знаю, почему мы вели себя как сумасшедшие. Я приложил палец к носу и таинственно кивнул головой.

– Здорово! – закричал он и, подняв одну ногу, щелкнул пальцами над головой. Я стал отплясывать джигу. Мы прыгали по железной палубе. Оглушительно задребезжало старое судно, а девственный лес на другом берегу отозвался грохочущим эхом, прокатившимся над спящей станцией. Должно быть, кое-кто из пилигримов проснулся в своей хижине. В дверях освещенной хижины начальника показалась чья-то темная фигура; вскоре она скрылась, а затем, через секунду, исчез и просвет в дверях. Мы остановились, и тишина, спугнутая топотом наших ног, снова хлынула к нам из леса. Высокая стена растительности, масса переплетенных ветвей, листьев, сучьев, стволов, неподвижная в лучах луны, походила на стремительную лавину немой жизни, на вздыбившийся увенчанный гребнем зеленый вал, готовый рухнуть в заливчик и смести с лица земли нас – жалких маленьких человечков. Но стена оставалась неподвижной. Издалека доносился заглушенный могучий храп и плеск, словно какой-то ихтиозавр принимал лунную ванну в великой реке.

– В конце концов, – рассудительно сказал котельщик, – почему бы нам не получить заклепок?

И в самом деле! Я не видел причины, почему мы могли бы их не получить.

– Они прибудут через три недели, – доверчиво сказал я.

Но они не прибыли. Вместо заклепок нас ожидало нашествие, испытание, кара. Отдельными группами стали являться посетители, и это продолжалось три недели. Впереди каждого отряда шел осел, который нес на своей спине белого в новом костюме и коричневых ботинках, раскланивавшегося на обе стороны с ошеломленными пилигримами. По пятам за ослом сле-

довала толпа ворчливых, угрюмых негров с натруженными ногами. Палатки, походные стулья, цинковые ящики, белые коробки, темные тюки свалены были во дворе, и атмосфера тайны сгущалась над бестолочью станции. Пять раз повторялись эти вторжения; казалось, что люди беспорядочно обратились в бегство, прихватив с собой товары из бесчисленных складов мануфактуры и провианта, чтобы здесь – в глуши – поровну разделить добычу. Это было невообразимое скопление вещей, сами по себе они были хороши, но безумие человеческое придавало им вид награбленного добра.

Достойная компания называла себя экспедицией для исследования Эльдорадо, и я думаю, что члены ее были связаны клятвой хранить тайну. Однако разговоры их напоминали непристойную болтовню пиратов – разговоры циничные, хищные и жестокие, но отнюдь не мужественные или смелые. Никаких серьезных намерений или предусмотрительности не было ни у одного из этой банды, и они, казалось, даже не подозревали, что это необходимо для работы. Единственным их желанием было вырвать сокровище из недр страны, а моральными принципами они интересовались не больше, чем интересуется грабитель, взламывающий сейф. Кто оплачивал расходы этой почтенной экспедиции – я не знаю, но во главе банды стоял дядя нашего начальника.

Внешне он походил на мясника из бедного квартала, и глаза у него были заспанные и хитрые. С надменным видом носил он на коротеньких ножках свой толстый живот и, пока его шайка отравляла воздух станции, не разговаривал ни с кем, кроме своего племянника. Можно было наблюдать, как эти двое целыми днями бродят вместе, погруженные в нескончаемую беседу.

Я перестал терзать себя мыслями о заклепках. Способность предаваться такому безумию более ограниченна, чем вы себе представляете. Я послал все к черту и положился на волю судьбы. Времени для размышлений у меня было сколько угодно, и иногда я подумывал о Куртце. Я не особенно им интересовался, но все же мне любопытно было узнать, достигнет ли вершины этот человек, вооруженный какими-то моральными принципами, и как он тогда примется за дело.

II

Как-то вечером, лежа плашмя на палубе своего парохода, я услышал приближающиеся голоса: оказывается, дядя и племянник прогуливались по берегу. Я снова опустил голову на руку и чуть было не задремал, как вдруг кто-то сказал, словно под самым моим ухом:

– Я безобиден, как маленький ребенок, но не терплю, когда мною командуют. Начальник я или нет? Мне приказано было отправить его туда. Это невероятно…

Я понял, что эти двое остановились на берегу у носа парохода, чуть-чуть пониже моей головы. Я не пошевельнулся: мне хотелось спать.

– Действительно, это неприятно, – проворчал дядя.

– Он просил правление прислать его сюда, – сказал племянник, – имея в виду показать, что он может сделать. Я получил соответствующие инструкции. Подумайте только, каким влиянием пользуется этот человек! Не ужасно ли это?

Собеседник подтвердил, что действительно это ужасно. Затем последовало еще несколько странных замечаний:

– Все может… один человек… правление… водит за нос… – обрывки нелепых фраз, которые рассеяли мою дремоту. Я окончательно проснулся, когда дядя наконец произнес:

– Благодаря климату это затруднение может быть устранено. Он там один?

– Да, – отвечал начальник. – Он отправил ко мне своего помощника с запиской, составленной в таких выражениях: «Отошлите этого беднягу на родину и не трудитесь посылать мне таких субъектов. Я предпочитаю остаться один, чем работать с теми людьми, каких вы мне можете дать». Это было больше года назад. Можете вы себе представить такую наглость!

– А с тех пор он что-нибудь присылал? – проворчал дядя.

– Слоновую кость, – отрывисто бросил племянник. – Много слоновой кости… первосортной… чрезвычайно неприятно…

– А кроме слоновой кости? – прогудел дядя.

– Накладную, – ответил, словно из ружья выстрелил, племянник.

Последовало молчание. Речь шла о Куртце.

К тому времени сна у меня не было ни в одном глазу, но, лежа в удобной позе, я не имел намерения менять ее.

– Каким образом была доставлена сюда слоновая кость? – пробурчал дядя, видимо очень раздраженный.

Тот объяснил, что она прибыла с флотилией каноэ, которой командовал английский клерк, полукровка, состоявший при Куртце. Куртц, видимо, сам намеревался ехать, так как в то время на его станции не осталось ни товаров, ни провианта, но, сделав триста миль, вдруг решил вернуться назад и отправился в обратный путь один в маленьком челноке с четырьмя гребцами, предоставив полукровке отвезти слоновую кость.

Казалось, племянник и дядя были поражены этим поступком и понять не могли его мотивов. Что же касается меня, то я как будто впервые увидел Куртца – увидел отчетливо: челнок, четыре гребца-дикаря и одинокий белый человек, внезапно повернувшийся спиной к Центральной станции, к мыслям об отдыхе, быть может – к мечтам о родине, и обративший лицо к дикой глуши, к своей опустошенной и унылой станции. Я не знал его мотивов. Может быть, он был просто славным парнем, который бескорыстно заинтересован делом. Эти двое ни разу не назвали его по имени, они говорили «тот человек». Полукровку, который, поскольку я мог судить, проявил величайшую осмотрительность и ловкость, исполнив это трудное поручение, они называли не иначе, как «тот негодяй». «Негодяй» доложил, что «тот человек» был тяжело болен и не совсем еще оправился… Собеседники отошли на несколько шагов и стали ходить взад и вперед мимо судна. Я слышал обрывки фраз: «Военный пост… доктор… двести миль…

совсем один теперь… неизбежное промедление… девять месяцев… никаких вестей… Странные слухи…»

Они снова приблизились как раз в тот момент, когда начальник говорил:

– Нет никого, насколько мне известно, если не считать этого зловредного парня, – кажется, странствующего торговца, – отбирающего у туземцев слоновую кость.

О ком это они теперь говорили? Я решил, что речь идет о человеке, который находится в округе Куртца и не заслуживает одобрения начальника.

– Мы не избавимся от недостойной конкуренции до тех пор, пока одного из этих парней не повесят для острастки, – сказал начальник.

– Правильно, – проворчал дядя. – Пусть его повесят! Почему не повесить? В этой стране можно сделать все, что угодно. Я тебе говорю: здесь – ты понимаешь? – здесь никто тебе не опасен. А почему? Потому что ты выносишь этот климат; ты их всех переживешь. Опасность в Европе; но перед отъездом я позаботился о том, чтобы…

Они отошли и заговорили шепотом; потом племянник повысил голос:

– Я не виноват, что произошла такая задержка. Я сделал все, что мог.

Толстяк вздохнул:

– Очень печально.

– Послушали б вы его нелепую и зловредную болтовню! – продолжал тот. – Он мне здорово надоел, пока был здесь. «Каждая станция должна быть как бы маяком на пути, который ведет к прогрессу; это не только центр торговли, но и центр гуманности, усовершенствования, просвещения». Представляете себе – какой осел! И он хочет быть начальником! Нет, это…

Тут он захлебнулся своим негодованием, а я чуть-чуть приподнял голову. Я и не подозревал, что они стоят так близко. Я бы мог плюнуть им на шляпы. Погрузившись в размышления, они уставились в землю. Начальник похлестывал себя прутиком по ноге; проницательный его родственник поднял голову и спросил:

– Ты ни разу не болел с тех пор, как приехал из отпуска?

Тот вздрогнул:

– Кто? Я? О, я славно заколдован. Но остальные! Боже мой! Все больны. И умирают так быстро, что я не успеваю отправлять их на родину… Просто невероятно!

– Гм… так… – пробормотал дядя. – Ах, мой мальчик, на это и уповай!

Я видел, как он вытянул свою короткую, похожую на плавник руку и широким жестом указал на лес, заводь, грязь, реку, словно предательски взывал к притаившейся смерти, скрытому злу, глубокой тьме в сердце земли, обращенной к нам своим светлым солнечным ликом. Это было так жутко, что я вскочил и посмотрел на опушку леса, как будто ждал ответа на этот мрачный призыв к упованию. Вы сами знаете, какие нелепые мысли приходят иногда в голову. Но перед этими двумя людьми вставала величественная тишина, исполненная зловещего терпения, как бы дожидающаяся конца фантасмагорического вторжения.

Они оба громко выругались, – должно быть, от испуга, – затем, делая вид, что меня не замечают, направились к станции. Солнце стояло низко; они шли бок о бок и словно с трудом втаскивали на холм свои две чудовищные тени неравной длины, которые медленно волочились за ними по высокой траве, не приминая ни одной былинки.

Через несколько дней экспедиция Эльдорадо углубилась в безмолвные заросли, которые сомкнулись над ней, как смыкается море над нырнувшим пловцом. Много времени спустя пришла весть, что все ослы издохли. Мне неизвестно, какая судьба постигла менее ценных животных. Несомненно, они, как и все мы, получили по заслугам. Справок я не наводил. В то время меня волновала надежда очень скоро увидеть Куртца. «Очень скоро» не нужно понимать буквально. Ровно через два месяца после того, как мы покинули бухту, пароход пристал к берегу ниже того места, где находилась станция Куртца.

Поднимаясь по этой реке, вы как будто возвращались к первым дням существования мира, когда растительность буйствовала на земле и властелинами были большие деревья. Пустынная река, великое молчание, непроницаемый лес. Воздух был теплый, густой, тяжелый, сонный. Не было радости в блеске солнечного света. Длинные полосы воды уходили в тьму затененных пространств. На серебристых песчаных отмелях гиппопотамы и аллигаторы грелись бок о бок на солнцепеке. Река, расширяясь, протекала среди заросших лесом островов. Здесь вы могли заблудиться, как в пустыне, и в течение целого дня натыкаться на мели, пытаясь найти проток. Казалось вам, будто вы заколдованы и навеки отрезаны от всего, что знали когда-то… где-то… быть может – в другой жизни. Бывали моменты, когда все прошлое вставало перед вами: это случается, когда нет у вас ни одной свободной минуты; но прошлое воплощалось в тревожном сне, о котором вы с удивлением вспоминали среди ошеломляющей реальности этого странного мира растений, воды и молчания. И в тишине этой жизни не было ничего похожего на покой. То было молчание неумолимой силы, сосредоточенной на неисповедимом замысле. Что-то мстительное было в этом молчании. Впоследствии я к нему привык и перестал обращать на него внимание – у меня не было времени. Мне приходилось разыскивать протоки, интуитивно угадывать местонахождение мелей, высматривать подводные камни. Я научился стискивать зубы, когда судно проходило на волосок от какой-нибудь отвратительной старой коряги, которая могла отправить на дно ветхое наше корыто со всеми пилигримами. Днем я должен был выискивать сухие деревья, чтобы срубить их ночью и растопить на следующий день котлы. Когда человеку приходится уделять внимание вещам такого рода, мелочам, реальность – реальность, говорю вам, – блекнет. Сокровенная истина остается скрытой – к счастью. На все-таки я ее ощущал – безмолвную и таинственную, наблюдающую за моими обезьяньими фокусами так же точно, как наблюдает она за вами, друзья, когда вы кривляетесь – каждый на своем канате, – ради чего? Ради дешевого трюка…

– Старайтесь быть вежливым, Марлоу, – проворчал чей-то голос, и я понял, что во всяком случае еще один слушатель, кроме меня, не спит.

– Прошу прощения. Я позабыл, что наградой является сердечная боль. И в самом деле, что нам награда, если фокус удался? Вы прекрасно проделываете свои фокусы, да и я справился недурно, ибо мне удалось не потопить судно при первом моем плавании. Этому я и по сей день удивляюсь. Представьте себе человека, который с завязанными глазами должен провести повозку по скверной дороге. Могу вам сказать, что я дрожал и обливался потом. В конце концов, для моряка непростительный грех – сорвать дно с судна, плавающего под его командой. Может, никто об этом не узнает, но вам этого не забыть. Удар в самое сердце. Вы о нем думаете, он вам снится, вы вспоминаете, просыпаясь ночью, много лет спустя, – и вас бросает то в жар, то в холод.

Я не утверждаю, что мой пароход все время плыл по воде. Не раз ему приходилось пробираться вброд, а двадцать каннибалов, барахтаясь в воде, подталкивали его. Дорогой мы завербовали этих парней в матросы. Славные ребята – каннибалы. С ними можно было работать, и о них я вспоминаю с благодарностью. В конце концов, они не поедали друг друга перед моим носом. Они прихватили с собой провизию – мясо гиппопотама, оно начало гнить, и противный запах, отравивший таинственные дебри, щекотал мне ноздри. Фу! Я и теперь еще чувствую этот аромат. На борту парохода находились начальник и три-четыре пилигрима с посохами. Иногда мы подходили к какой-нибудь станции, расположенной у самого берега, на границе с неведомым, и белые люди, выбегавшие из полуразвалившегося шалаша и жесткулировавшие радостно и удивленно, казались странными пленниками, которых удерживает здесь какое-то заклятие. Слова «слоновая кость» звенели в воздухе, а потом мы снова уходили в безмолвие, следовали за извивами реки, между высокими стенами, которые эхом отзывались на мощные удары большого колеса у кормы. Деревья, деревья, миллионы деревьев, массивных, необъ-

ятных, стремящихся ввысь; а у подножия их, придерживаясь берега, пробиралось маленькое закопченное паровое суденышко, словно ленивый жук, ползущий по полу между величественными колоннами. Вы чувствовали себя очень маленьким, покинутым, но это чувство не угнетало. В конце концов, как бы ни были вы малы, но грязный жук полз вперед – а этого вы и добивались. Куда, по мнению пилигримов, полз этот жук, я не знаю. Ручаюсь, что к какому-то месту, где они надеялись что-то получить. А для меня он полз к Куртцу, и только к Куртцу; но когда паровые трубы дали течь, мы стали продвигаться очень медленно.

Лес расступался перед нами и смыкался за нашими спинами, словно деревья лениво вступали в воду, чтобы преградить нам путь назад. Все глубже и глубже проникали мы в сердце тьмы. Здесь было очень тихо. Иногда по ночам за стеной деревьев раздавался бой барабанов и катился над рекой. До рассвета слышались слабые отголоски, словно парившие в воздухе над нашими головами. Был ли то призыв к войне, миру, молитве – мы не могли угадать. Предвозвестниками рассвета спускались прохлада и тишина; дровосеки спали, догорали их костры; треск сучка заставлял нас вздрагивать. Мы были странниками на земле доисторических времен – на земле, которая имела вид неведомой планеты. Мы могли вообразить себя первыми людьми, завладевающими проклятым наследством, за которое нужно заплатить великими страданиями и непосильным трудом.

Но иногда за поворотом реки под тяжелой неподвижной листвой открывался вид на тростниковые стены и острые крыши из травы, слышались крики, топот, раскачивались черные тела, сверкали белки глаз, хлопали в ладоши черные руки. Пароход медленно продвигался мимо этих безумствующих и загадочных черных людей. Доисторический человек проклинал нас, молился нам, нас приветствовал… кто мог сказать? Нам недоступно было понимание окружающего; мы скользили мимо, словно призраки, удивленные и втайне испуганные, как испугался бы нормальный человек взрыва энтузиазма в сумасшедшем доме. Мы не могли понять, ибо мы были слишком далеки и не умели вспомнить; мы блуждали во мраке первых веков – тех веков, которые прошли, не оставив ни следа, ни воспоминаний.

Земля казалась не похожей на землю. Мы привыкли смотреть на скованное цепями, побежденное чудовище, но здесь… здесь вы видели существо чудовищное и свободное. Оно не походило на землю, а люди… нет, люди остались людьми. Знаете, нет ничего хуже этого подозрения, что люди остаются людьми. Оно нарастало медленно, постепенно. Они выли, прыгали, корчили страшные гримасы; но в трепет приводила вас мысль о том, что они – такие же люди, как вы, – мысль об отдаленном вашем родстве с этими дикими и страстными существами. Ужасно? Да, это было ужасно. Но если хватит у вас мужества, вы признаетесь, что жуткая откровенность этого воя пробуждает в вас слабый ответный отголосок, смутное ощущение скрытого его смысла – смысла, который может открыться вам, так далеко ушедшему от мрака первых веков. И в самом деле, разум человека на все способен, ибо он все в себя включает, как прошлое, так и будущее. В конце концов, что было в этом вое? Радость, страх, скорбь, преданность, доблесть, бешенство – кто знает? – но истина была в нем, – истина, с которой сорвано покрывало веков.

Пусть глупец разевает рот и трепещет, но мужественный человек знает и может смотреть без трепета. И человеческого в нем должно быть, во всяком случае, не меньше, чем в этих людях на берегу. Их правду он примет, если есть у него своя правда и врожденная сила. Принципы? Принципы не помогут. Это – оболочка, тряпки, которые слетят при первой же встряске. Нет, вам нужна разумная вера. В этом безумном вое звучит призыв. Ну что ж! Я его слышу, принимаю, но у меня тоже есть голос, и нельзя заставить меня умолкнуть. Конечно, глупец, наделенный робостью и утонченными чувствами, опасности не подвергается.

Кто там ворчит? Вы удивляетесь, почему я не сошел на берег и не принял участия в вое и пляске? Да, я этого не сделал. Утонченные чувства, скажете вы? К черту утонченные чувства! У меня не было времени. Я должен был возиться со свинцовыми белилами и полосами, ото-

рванными от шерстяных одеял, накладывать повязки на эти протекающие трубы. Я должен был управлять судном, огибать коряги и во что бы то ни стало вести вперед наше старое корыто. Во всем этом достаточно было поверхностной реальности, чтобы спасти человека помудрее меня. А в промежутках мне приходилось следить за дикарем, исполнявшим обязанности кочегара. Это был усовершенствованный экземпляр: он умел растапливать котел. А находился он внизу, как раз подо мной. Смотреть на него было так же поучительно, как на разгуливающую на задних лапах собаку в штанах и шляпе с пером. Понадобилось всего несколько месяцев, чтобы обучить этого славного парня. Он косил глаза на манометр и водомер, всеми силами стараясь проявить свою неустрашимость, а ведь бедняга все еще носил на шее ожерелье из зубов; курчавые волосы его были выбриты так, что череп был как бы расписан узорами, и на каждой щеке красовалось по три шрама. Ему бы следовало хлопать в ладоши и плясать на берегу, а вместо этого он работал – раб, покорившийся странному волшебству и набиравшийся спасительных знаний. Он был полезен, так как его обучили. А знал он вот что: если вода в этом прозрачном сосуде исчезнет, то злой дух, обитающий в котле, почувствует великую жажду, разгневается, и страшно будет его мщение. Итак, он потел, подбрасывал дрова и с опаской следил за сосудом; экспромтом изобретенный амулет из тряпок привязан был к его руке, и плоский кусок отполированной кости величиной с карманные часы украшал его нижнюю губу. Медленно проплывали мимо лесистые берега, шумный поселок оставался позади, а мы ползли по безмолвной бесконечной реке, ползли к Куртцу. Но часто попадались коряги, обманчива и мелководна была река, а в котле как будто и в самом деле обитал угрюмый демон, и потому ни у кочегара, ни у меня не было времени предаваться размышлениям.

В пятидесяти милях ниже Внутренней станции мы увидели шалаш из камыша, меланхолический шест, на котором развевалось какое-то тряпье, некогда бывшее флагом, и аккуратно сложенную кучу дров. Для нас это было неожиданно. Мы пристали к берегу и на дровах нашли доску с полустертой надписью, сделанной карандашом. Расшифровав ее, мы прочли: «Древа заготовлены для вас. Спешите. Подходите осторожно».

Далее следовала подпись, которую мы не могли разобрать, – во всяком случае, не Куртц, какое-то более длинное слово. «Спешите». Куда? К верховьям реки? «Подходите осторожно». Мы не соблюдали осторожности. Но предостережение не могло относиться к тем местам, которые мы проехали. Что-то неладное было впереди. Но что? И велика ли опасность? Вот в чем вопрос. Мы сердито обсуждали нелепость такого лаконического стиля. Заросли вокруг безмолвствовали и препятствовали нам заглянуть вдаль. Рваная занавеска из красной материи висела в дверях шалаша, уныло развеваясь перед нашими лицами. Жилище было покинуто, но, несомненно, здесь жил не так давно белый человек. В шалаше стоял грубый стол – доска на двух столбиках, в темном углу валялась куча хлама, а у двери я поднял книгу; она была без переплета, листы, захватанные пальцами, размокли и запачкались, но были любовно прошиты заново белой ниткой, еще не успевшей загрязниться. Необычайная находка! Книга называлась «Исследование некоторых вопросов по навигации» и написана была неким Тоуэром, Тоусоном или кем-то в этом роде, капитаном флота его величества. Довольно скучное произведение с диаграммами и отталкивающими столбцами цифр, изданное шестьдесят лет назад.

С величайшей нежностью обращался я с этой любопытной древностью, боясь, как бы она не рассыпалась в моих руках. На страницах книги Тоусон или Тоуэр весьма серьезно исследовал вопрос о сопротивлении материалов для судовых цепей и талей. Не очень занимательная книга, но достаточно было одного взгляда, чтобы оценить устремленность к цели, добросовестное старание правильно приступить к делу; вот почему эти скромные страницы, написанные столько лет назад, представляли не только профессиональный интерес. Простодушный старый моряк, толкующий о цепях и талях, заставил меня позабыть о зарослях и пилигримах и с восторгом почувствовать, что наконец-то попалось мне в руки нечто несомненно реальное. Такая книга была удивительна сама по себе, но еще поразительнее были заметки на полях, видимо,

относившиеся к тексту. Я не верил своим глазам: заметки были шифрованные! Да, эти знаки походили на шифр. Представьте себе человека, который притащил такую книгу в эту глушь, изучал ее, делал заметки и вдобавок прибегал к шифру! Из ряда вон выходящая тайна!

Мне помешал какой-то шум; подняв глаза, я увидел, что куча дров исчезла, а начальник и все пилигримы, стоя на берегу, хором ко мне взывают. Я сунул книгу в карман. Уверяю вас, оторваться от книги мне было так же трудно, как распрощаться с верным старым другом.

Я пустил в ход искалеченную машину.

– Должно быть, записку оставил этот проклятый торговец, этот пролаза! – воскликнул начальник Центральной станции, злобно оглядываясь на покинутый нами шалаш.

– Быть может, он – англичанин, – сказал я.

– Это его не спасет от беды, если он не поостережется, – мрачно пробормотал начальник.

С притворной наивностью я заметил, что в этом мире ни один человек не может считать себя застрахованным от беды.

Здесь, в верховьях, течение было быстрее; пароход, казалось, находился при последнем издыхании; лениво разбивало воду кормовое гребное колесо, а я, затаив дыхание, прислушивался, ибо, по правде сказать, ждал с минуты на минуту, что оно остановится. Я как будто следил за последними вспышками угасающей жизни. Но все-таки мы ползли вперед. Иногда я высматривал какое-нибудь дерево впереди, чтобы измерить скорость нашего продвижения навстречу Куртцу, но неизменно терял его из виду раньше, чем мы к нему подходили. Терпения не хватало так долго смотреть на один и тот же предмет. Начальник проявлял великолепное спокойствие. Я бесновался, кипятился и рассуждал сам с собой, стоит ли мне откровенно поговорить с Куртцем. Но раньше, чем я пришел к какому-либо выводу, меня осенила мысль, что и слова мои и мое молчание, да и любой поступок не имеют, в сущности, никакого значения. Не все ли равно, что он знает и чего не знает? Не все ли равно, кто был начальником? Бывают иногда такие минуты просветления. Суть дела скрыта под поверхностью, недоступна мне, и мое вмешательство ничего не изменит.

К вечеру второго дня мы, по нашим расчетам, находились в восьми милях от станции Куртца. Я хотел продолжать путь, но начальник принял серьезный вид и сообщил мне, что плаванье в этих местах сопряжено с опасностью, и так как солнце стоит низко, то лучше нам остаться здесь до утра. Кроме того, если считаться с предостережением, то благоразумнее будет подойти к станции не в сумерках и не в темноте, но при дневном свете. Это было вполне разумно. Чтобы сделать восемь миль, нам требовалось около трех часов, а у поворота реки я мог разглядеть подозрительную рябь. Тем не менее эта отсрочка очень меня раздосадовала; безрассудная досада, ибо какое значение может иметь одна ночь после стольких месяцев?

Так как дров у нас было много, а начальник хотел соблюдать осторожность, то я бросил якорь посередине потока. Здесь река была прямая, узкая, с берегами высокими, как железнодорожные насыпи. Сумерки спустились к нам задолго до заката солнца. Быстро струилась вода, но на берегах все было неподвижно и безмолвно. Деревья, опутанные ползучими растениями, и кусты словно окаменели, и окаменела каждая веточка, каждый листик. Это был не сон – такая неподвижность казалась неестественной, подобной трансу. Не слышно было ни единого звука. Мы удивлялись и готовы были заподозрить себя в глухоте; затем внезапно спустилась ночь и наградила нас также и слепотой. Около трех часов утра в реке всполошилась какая-то большая рыба, и от громкого плеска я подскочил, словно услышал выстрел из пушки.

Когда взошло солнце, на реке лежал белый туман, очень теплый, липкий и еще более непроницаемый, чем мрак. Он не рассеивался, он стоял вокруг, как прочная стена. Часов в восемь или девять он поднялся, как поднимается штора. Мельком увидели мы вздымающиеся к небу деревья, непроходимые заросли, маленький пылающий шар, нависший над лесом… все было неподвижно… и потом снова спустилась белая штора плавно, как по смазанным желобам. Я приказал отпустить якорную цепь, которую мы начали поднимать. Не успело замолк-

нуть заглушенное звяканье, когда раздался крик – громкий крик, – исполненный безграничной тоски, и медленно пронесся в густом тумане. Потом стих. Тогда поднялись жалобные вопли, дикие, негармоничные. От неожиданности волосы зашевелились у меня под фуражкой. Не знаю, какое впечатление это произвело на моих спутников; мне казалось, что туман разразился воплями, – так неожиданно раздался этот громкий и тоскливый вой, доносившийся как будто со всех сторон. Он достиг кульминационной точки, перейдя в невыносимо пронзительный визг, и оборвался внезапно, а мы застыли в нелепых позах и упорно прислушивались к молчанию, почти такому же жуткому, как эти крики.

– Боже мой! Что же это такое? – простонал под самым моим ухом один из пилигримов, маленький толстый человечек с песочными волосами и рыжими бакенбардами, облаченный в розовую пижаму, панталоны, заправленные в носки, и штиблеты на резинке. Остальные двое минуту сидели, разинув рты, затем бросились в маленькую каютку и сейчас же выскочили оттуда, испуганно озираясь по сторонам и держа наготове винчестеры. Мы могли разглядеть только пароход, очертания которого были стерты, словно он вот-вот должен был растаять, да туманную полосу воды, фута в два шириной, вокруг судна. Остального мира не было, ибо мы его не видели и не слышали. Его не было. Он исчез, растворился, и от него не осталось ни шепота, ни тени.

Я прошел на нос и приказал натянуть якорную цепь так, чтобы в случае необходимости можно было сразу поднять якорь и тронуться в путь.

– Нападут ли они? – раздался чей-то испуганный голос.

– Нас перебьют в этом тумане! – прошептал другой.

Лица подергивались от волнения, руки слегка дрожали, глаза не мигали. Любопытно было сравнивать выражение лиц белых людей и наших чернокожих матросов, которые были такими же пришельцами в верховьях реки, как и мы, хотя дома их находились на расстоянии каких-нибудь восьмисот миль отсюда. Белые выглядели не только взволнованными, но и оскорбленными таким возмутительным воем, а чернокожие были заинтересованы, держались настороже, но лица их были спокойны, и один или двое усмехались, натягивая якорную цепь. Несколько человек обменялись отрывистыми фразами, казалось, разрешившими вопрос ко всеобщему удовольствию. Их главарь, молодой широкоплечий негр с раздутыми ноздрями и волосами, искусно завитыми в маслянистые колечки, стоял возле меня, задрапированный в какую-то темно-синюю материю с бахромой.

– Вот оно что! – сказал я, чтобы завязать разговор.

– Поймай их, – отозвался он, тараща налитые кровью глаза и поблескивая острыми зубами. – Поймай их. Отдай их нам.

– Вам? – переспросил я. – А что вы будете с ними делать?

– Съедим их! – коротко ответил он и, облокотившись на поручни, принял величественную позу и стал задумчиво всматриваться в туман. Несомненно, я бы ужаснулся, если б не пришло мне в голову, что он и его приятели, должно быть, очень голодны и что в продолжение последнего месяца голод их все усиливался. Они были наняты на шесть месяцев (не думаю, чтобы хоть один из них имел о времени такое же ясное представление, какое имеем мы, озирая позади себя бесчисленные века; они все еще пребывали в начале времен и не могли руководствоваться унаследованным опытом). Разумеется, поскольку контракт был составлен в соответствии с каким-нибудь шутовским законом, придуманным в низовьях реки, то никому и в голову не приходило поразмыслить о том, как они будут жить. Правда, они принесли с собой гнилое мясо гиппопотама, но его не хватило бы надолго, даже если бы пилигримы не выкинули большую его часть за борт, вызвав возмущенный рев чернокожих матросов. Это походило на дерзкую расправу, но в действительности то была лишь мера самозащиты. Вы не можете вдыхать во сне или наяву во время еды запах гниющего гиппопотама, не рискуя расстаться при этом с жизнью.

Кроме того, чернокожие получали каждую неделю по три куска латунной проволоки – в каждом куске было около девяти дюймов; рассуждая теоретически, они должны были покупать в прибрежных деревнях провизию и расплачиваться этой ходячей монетой. Вы можете видеть, как теория оправдала себя на практике. Или деревень не было, или население встречало нас враждебно, или начальник, который так же, как и все мы, питался консервами и попадавшей иногда в наши руки старой козлятиной, не желал по непонятным мотивам останавливать пароход. Итак, мне неизвестно, какую пользу могли они извлечь из своего необычного жалованья, разве что они глотали эту проволоку или делали из нее крючки и удили рыбу. Но я должен сказать, что жалованье выплачивалось аккуратно и это делало честь крупной и почтенной торговой фирме.

Что же касается провизии, то я видел у чернокожих какие-то странные, отнюдь не съедобные на вид куски грязновато-лилового цвета, похожие на полусырое тесто; они заворачивали его в листья и иногда отщипывали по кусочку, но кусочки эти были такие маленькие, что о насыщении и речи быть не могло. Почему во имя всех гложущих демонов голода чернокожие не расправились с нами – их было тридцать, а нас пятеро – и не устроили себе хоть раз в жизни пиршества, я не понимаю и по сей день. Они были дюжими, здоровыми людьми, неспособными задумываться о последствиях, мужественными и сильными даже теперь, когда кожа их уже не лоснилась, а мускулы потеряли упругость. Я решил, что здесь мы имеем дело с каким-то сдерживающим началом – с одной из тех тайн человеческой природы, перед которой пасуют все догадки.

Я посмотрел на них с любопытством, но заинтересовало меня не то, что они в самом непродолжительном времени могли меня съесть. Впрочем, признаюсь, в ту минуту я как-то по-новому обратил внимание на болезненный вид пилигримов, втайне надеясь – да, надеясь! – что сам я выгляжу не таким… как бы это сказать?.. не таким неаппетитным. Это была вспышка нелепого тщеславия, вполне гармонировавшая с тем дремотным состоянием, в каком я пребывал все эти дни. Пожалуй, меня немного лихорадило. Человек не может жить, вечно следя за своим пульсом. Меня часто лихорадило, или то были приступы других болезней: дикая глушь, перед тем как перейти в атаку – что и случилось впоследствии, – шутливо поглаживала меня своей лапой. Да, я смотрел на них с тем любопытством, с каким присматриваемся мы к людям; меня интересовали их импульсы, мотивы, способности, слабости, подвергнутые испытанию неумолимой физической потребностью. Обуздание! Разве могла быть речь об обуздании? Сдерживало ли их суеверие, отвращение, страх, терпение или какое-то примитивное понятие о чести? Но никакой страх не может противостоять голоду, никакое терпение не может с ним примириться, а отвращению не остается места, если мучит голод. Что же касается суеверий и так называемых принципов, то они – отнюдь не надежнее соломинки, подхваченной вихрем.

Знаете ли вы муки голода, эту невыносимую пытку, знаете ли черные мысли и нарастающую ярость, какие приносит с собой голод? Я это знаю. Человеку нужны все его силы, чтобы достойно бороться с голодом. Легче вынести тяжелую утрату, бесчестие, гибель собственной души, чем такое длительное голодание. Печально, но это так! И ведь у них не было никаких оснований опасаться угрызений совести. Выдержка! С таким же успехом я мог ждать выдержки от гиены, рыскающей среди трупов по полю битвы. Но факт был налицо – факт ослепляющий, как пена на море, как проблеск неисповедимой тайны, – факт более таинственный, чем странная необъяснимая тоска в этом диком вое, который донесся к нам с берега реки, скрытого непроницаемой белой завесой тумана.

Два пилигрима шепотом спорили о том, на каком берегу раздался крик.

– На левом.

– Нет, нет! Что вы говорите? На правом, конечно на правом!

– Положение серьезное, – раздался за моей спиной голос начальника. – Я буду в отчаянии, если что-нибудь случится с мистером Куртцем раньше, чем мы прибудем на место.

Я посмотрел на него и не усомнился в его искренности. Он был одним из тех людей, которые хотят соблюдать приличия. В этом проявлялась его выдержка. Но когда он пробормотал что-то о том, чтобы немедленно тронуться в путь, я даже не потрудился ему ответить. Я знал – и он знал, – что это невозможно. Если б мы подняли якорь, мы бы буквально заблудились в тумане. Мы бы не могли решить, куда идем – вверх или вниз по течению или же пересекаем реку, пока пароход не врезался бы в берег; да и тогда мы бы не знали, к какому берегу пристаем. Конечно, я не тронулся с места. Я не намерен был губить судно. Нельзя было придумать более странного места для кораблекрушения. Если бы пароход затонул не сразу, мы бы все равно погибли – так или иначе.

– Я предлагаю вам идти на риск, – сказал он, помолчав.

– Я отказываюсь рисковать, – коротко ответил я. Этого ответа он ждал, хотя мой тон мог его удивить.

– В таком случае я должен положиться на ваше суждение. Вы – капитан, – произнес он с подчеркнутой вежливостью.

Я повернулся к нему боком и стал всматриваться в туман. Сколько времени это еще протянется? Туман нимало меня не обнадежил. Приближение к Куртцу, добывающему слоновую кость в этих проклятых зарослях, было сопряжено с такими опасностями, словно мы ехали к зачарованной принцессе, спящей в сказочном замке.

– Как вы думаете, нападут ли они? – конфиденциально спросил начальник.

По многим основаниям я считал, что они не нападут. Одним из этих оснований был густой туман. Если они отчалят от берега в своих каноэ, они заблудятся в тумане, как заблудились бы и мы, если б сдвинулись с места. Затем заросли по берегам реки казались мне непроницаемыми… хотя они имели глаза – глаза, которые нас видели. Прибрежные кусты, несомненно, были непроходимы, но сквозь джунгли, тянувшиеся за ними, по-видимому, можно было пробраться. Однако в течение того короткого промежутка времени, когда туман рассеялся, я убедился, что никаких каноэ поблизости не видно; во всяком случае, их не было около парохода. Главная же причина, по которой я считал нападение невозможным, заключалась в самом характере криков. То не был свирепый вой, предвещающий враждебное наступление. В этих диких пронзительных воплях мне слышалась безграничная скорбь. Казалось, вид парохода почему-то преисполнил дикарей безысходной тоской. Опасность, объяснял я, заключается в том, что по соседству от нас находятся люди, захваченные великой страстью. Даже скорбь может в конце концов перейти в ярость, хотя обычно она переходит в апатию.

Если б вы видели, как таращили глаза пилигримы! У них не хватало духу высмеять или хотя бы обругать меня, но, думаю, они порешили, что я сошел с ума – от страха, быть может. Я им прочел целую лекцию. Друзья мои, что мне было делать? Держаться настороже? Ну что ж, я следил за туманом, как кошка следит за мышью; но теперь глаза нам были так же не нужны, как если бы мы оказались погребенными под горой ваты. И туман был похож на вату – удушливый, теплый. Кроме того, все, что я сказал, было абсолютно правильно, хотя и звучало нелепо. То, о чем впоследствии мы говорили как о нападении, было, по существу, лишь попыткой отразить наступление. Ничего враждебного в этой попытке не было; она была сделана людьми, доведенными до отчаяния, и носила характер оборонительный.

Это произошло в полутора милях от станции Куртца, через два часа после того, как рассеялся туман. Мы повернули по реке, когда я увидел на середине течения маленький островок – холмик, поросший ярко-зеленой травой. Когда мы подошли ближе, я разглядел, что от холмика тянется длинная песчаная коса, или, вернее, цепь островков, бесцветных и едва поднимающихся над водой; все они были связаны подводной мелью, тянувшейся по середине потока; эта мель видна была под водой так же, как виден под кожей позвоночный столб человека. Теперь

я мог идти направо или налево от мели. Я не знал, какой проход избрать. Глубина, казалось, была одинакова, и берега ничем не отличались; но так как меня предупредили, что станция находится на западном берегу, то я, естественно, повел судно в западный пролив.

Не успели мы войти в него, как я заметил, что он значительно уже, чем я предполагал. Слева тянулась длинная мель, а справа высокий крутой берег, заросший кустами. Над кустарником рядами вздымались деревья. Ветви нависли над рекой, и кое-где дерево протягивало с берега гигантский сук. День клонился к вечеру, пасмурным казался лес, и широкая полоса тени уже легла на воду. В этой тени мы очень медленно продвигались вперед. Я вел судно, придерживаясь берега; здесь было глубже, как показал шест для измерения глубины.

Один из моих голодных и терпеливых друзей негров измерял глубину, стоя на носу как раз подо мною. Этот пароход походил на палубное плоскодонное судно. На палубе находились два домика из тикового дерева с дверями и окнами. Котел помещался на носу, а машины – на корме. Над всей палубой тянулась легкая крыша на столбах. Труба проходила через эту крышу, а перед трубой возвышалось маленькое дощатое строение, служившее рулевой рубкой. Здесь помещался штурвал, кушетка, два складных стула, крохотный стулик и заряженное «мартини», прислоненное в углу. Дверь выходила на нос; справа и слева были широкие ставни, никогда не закрывавшиеся. Целые дни я проводил на самом конце крыши перед дверью. Ночью спал или пытался спать на кушетке. Атлетический негр из какого-то берегового племени, обученный бедным моим предшественником, исполнял обязанности рулевого. Он носил медные серьги и обертывал себе бедра куском голубой материи, спускавшейся до лодыжек. О себе он был самого высокого мнения. Я его считал самым ветреным дураком, какого мне когда-либо приходилось видеть. При вас он с самонадеянным видом управлял рулем, но стоило вам уйти, как он пугался, и наш калека-пароход мог в одну минуту одержать над ним верх.

Я смотрел вниз, на шест для измерения глубины, с досадой отмечая, что река все мелеет, как вдруг мой негр, не потрудившись втащить шест, плашмя растягивается на палубе. Однако шеста он из рук не выпустил, и шест волочился по воде. В то же время кочегар, которого я тоже мог видеть с крыши, внезапно уселся перед своей топкой и втянул голову в плечи. Я удивился и бросил взгляд на реку, так как нам предстояло обогнуть корягу. Палочки, маленькие палочки, летали в воздухе; их было много; они свистели перед самым моим носом, падали к моим ногам, ударялись о стенки рулевой рубки за моей спиной. А в это время на реке, на берегу в кустах было тихо – полная тишина. Я слышал только тяжелые удары колеса на корме да постукиванье падающих палочек. Неуклюже обогнули мы корягу. Стрелы, клянусь богом, стрелы! Нас обстреливали! Я поспешно вошел в рубку, чтобы закрыть ставень со стороны берега. Этот дурак рулевой, держа руки на штурвале, приплясывал и жевал губами, словно взнузданная лошадь. Черт бы его побрал! А мы тащились в десяти футах от берега.

Мне пришлось высунуться, чтобы закрыть тяжелый ставень, и я увидел в листве лицо на уровне с моим лицом и глаза, злобно на меня смотревшие в упор; и вдруг словно кто-то снял пелену, застилавшую мне зрение, и я разглядел в полутьме среди переплетенных ветвей обнаженные торсы, руки, ноги, сверкающие глаза – в кустах кишели человеческие тела бронзового цвета. Ветки дрожали, раскачивались, трещали, стрелы вылетали из кустов. Я закрыл ставень.

– Держи прямо, – сказал я рулевому.

Не поворачивая головы, он смотрел вперед, но глаза его были вытаращены, он потихоньку притопывал, и на губах у него выступила пена.

– Стой смирно! – крикнул я в бешенстве. Но с таким же успехом я мог приказать дереву не раскачиваться под ветром. Я выскочил из рубки. Внизу люди бегали по железной палубе; слышались заглушенные восклицания; кто-то взвизгнул:

– Нельзя ли повернуть назад?

Впереди я заметил рябь на воде. Как! Еще одна коряга! Под моими ногами началась стрельба. Пилигримы пустили в ход свои «винчестеры» и попусту швыряли свинец в кусты.

Поднялось облако дыма и медленно поползло вперед. Я выругался. Теперь я не мог разглядеть ни ряби, ни коряги. Я стоял, выглядывая из-за двери, а стрелы летели тучами. Быть может, эти стрелы были отравлены, но, казалось, они не убили бы и кошки. В кустах поднялся вой. Наши дровосеки отвечали воинственным гиканьем. Ружейный выстрел раздался за моей спиной и оглушил меня. Я оглянулся через плечо; в рубке дым еще не рассеялся, когда я бросился к штурвалу. Оказывается, негр сорвался с места, открыл ставень и выстрелил из «мартини». Тараща глаза, он стоял перед широким отверстием, а я кричал на него, выпрямляя уклонившийся в сторону пароход. Здесь негде было повернуть, даже если бы я и намеревался это сделать; где-то впереди, очень близко от нас, скрывалась в проклятом дыму коряга. Времени нельзя было терять, и я подвел пароход к самому берегу – туда, где, как я знал, было глубоко.

Медленно ползли мы мимо нависших кустов под сыпавшимися на нас листьями и сломанными ветками. Внизу обстрел прекратился. Я откинул голову, когда со свистом мелькнула стрела, влетевшая в одно окно рубки и вылетевшая в другое. Глядя из-за плеча этого сумасшедшего рулевого, который орал, потрясая разряженным ружьем, я различил неясные фигуры людей; они бежали, сгорбившись, скользили и прыгали. Что-то большое показалось перед ставнем, ружье полетело за борт, а человек отступил назад, глянул на меня через плечо странным глубоким взглядом и упал к моим ногам. Головой он два раза ударился о штурвал, а конец какой-то длинной трости стукнул и опрокинул маленький складной стул. Похоже было на то, что негр, вырвав эту трость из рук человека на берегу, потерял равновесие и упал. Тонкий дымок рассеялся, коряга осталась позади, и, глядя вперед, я убедился, что через сотню ярдов можно будет отвести пароход подальше от берега.

Вдруг я почувствовал, что стою на чем-то очень теплом и мокром, и посмотрел вниз. Человек перевернулся на спину и смотрел прямо на меня; обеими руками он сжимал эту трость. Но то была не трость, а древко копья, брошенное в окно рубки, копье вонзилось ему в бок под ребрами до самого древка, и на боку зияла страшная рана; мои ботинки были полны крови, под штурвалом виднелась блестящая темно-красная лужа. Его глаза светились странным лучистым светом. Внизу снова началась ружейная стрельба. Он смотрел на меня с тревогой, сжимал копье, словно какую-то драгоценность, и как будто боялся, что я попытаюсь отнять его у него.

Я должен был сделать над собой усилие, чтобы оторвать от него взгляд и следить за штурвалом. Одной рукой я нащупал над головой веревку и торопливо дал два свистка один за другим. Мгновенно смолкли злобные и воинственные крики, и тогда из глубины лесов донесся протяжный вибрирующий стон, исполненный такого ужаса, тоски и отчаяния, что, казалось, последняя надежда покидала землю. В кустах поднялась суматоха, град стрел прекратился, еще несколько выстрелов – и спустилось молчание. Я снова отчетливо услышал медленные удары колеса. В тот момент, когда я круто поворачивал руль направо, в дверях показался пилигрим в розовой пижаме, взволнованный и разгоряченный.

– Начальник послал меня… – начал он официальным тоном и вдруг запнулся. – Боже мой! – воскликнул он, заметив раненого.

Мы, двое белых, стояли над ним, а он смотрел на нас обоих своими лучистыми вопрошающими глазами. Уверяю вас, он как будто собирался задать нам какой-то вопрос на непонятном языке; но он умер, не произнеся ни слова, не дрогнув, не шелохнувшись. Только в самую последнюю минуту, словно в ответ на какой-то невидимый нам знак или шепот, который мы не могли услышать, он сдвинул брови, и его черное мертвое лицо стало угрюмым, задумчивым и грозным. Лучистые вопрошающие глаза угасли, стали стеклянными.

– Умеете вы править рулем? – нетерпеливо спросил я агента. Он, видимо, сомневался, но я схватил его за руку, и он сразу понял, что никакие возражения не помогут. По правде сказать, я горел нетерпением переодеть ботинки и носки.

– Он умер, – прошептал расстроенный пилигрим.

– Несомненно, – сказал я, дергая, как сумасшедший, шнурки ботинок. – И полагаю, что и мистера Куртца уже нет в живых.

В тот момент меня преследовала эта мысль. Я был страшно разочарован, как будто мне открылось, что все это время я стремился к чему-то призрачному. Большего разочарования я бы не мог испытать, если бы прошел весь этот путь с единственной целью поговорить с мистером Куртцем. Поговорить с ним… Я швырнул ботинок за борт, и тут меня осенила мысль, что именно к этому-то я и стремился – к беседе с Куртцем. Я сделал страшное открытие: этого человека я никогда не представлял себе, так сказать, действующим, но только – разговаривающим. Я не говорил себе: «Теперь я никогда его не увижу», или «теперь я не могу пожать ему руку», но – «теперь я никогда его не услышу». Думая об этом человеке, я думал о его голосе. Конечно, с ним связаны были известные поступки. Разве не твердили мне со всех сторон с восхищением и завистью, что он собрал, выменял, выманил или украл слоновой кости больше, чем все агенты, вместе взятые? Но не в этом была суть. Дело в том, что он был одаренным существом, и из всех его талантов подлинно реальной была его способность говорить – дар слова, дар ошеломляющий и просветляющий, самый возвышенный и самый презренный, пульсирующая струя света или обманчивый поток из сердца непроницаемой тьмы.

Второй ботинок полетел в эту проклятую реку. «Черт возьми! – подумал я. – Все кончено. Мы опоздали. Он исчез, и дар его исчез. Он убит копьем, стрелой или дубиной. В конце концов я так и не услышу, как говорил этот парень…» В моем отчаянии было что-то похожее на безграничную скорбь, какая слышалась в вое этих дикарей в кустах. Я почувствовал такое уныние и одиночество, словно у меня отняли веру или я не оправдал своего назначения в жизни…

Кто это там так глубоко вздыхает? Что вы говорите? Нелепо? Ну что ж! Пусть – нелепо. Боже мой! Неужели человек не может… Послушайте, дайте-ка мне табаку.

Спустилось глубокое молчание, потом вспыхнула спичка и осветила худое измученное лицо Марлоу, изборожденное вертикальными складками; веки были опущены, вид у него был внимательный и сосредоточенный. Он энергично раскуривал трубку. Крохотное пламя колебалось, а лицо то приближалось, то отступало в ночь. Спичка потухла.

– Нелепо! – воскликнул он. – Что толку рассказывать!.. Здесь у каждого из вас имеется по два адреса, вы прочно ошвартованы, словно судно, стоящее на двух якорях; вы знаете, что за одним углом находится мясник, а за другим – полисмен; аппетит у вас превосходный и температура нормальная… Понимаете?.. нормальная с начала до конца года. А вы говорите – нелепо!.. К черту нелепость! Друзья мои, чего ждать от человека, который так нервничает, что выбрасывает за борт пару новых ботинок? Теперь меня удивляет, как я тогда не пролил слез. Честное слово, я горжусь своей выдержкой. Меня больно задела мысль, что я лишился великой привилегии послушать этого одаренного Куртца. Конечно, я ошибался. Привилегия ждала меня. О да! Я услыхал больше, чем было нужно. И я был прав, думая о его голосе. Голос – вот самое существенное, что у него осталось. И я услышал его – этот голос – и другие голоса; а воспоминание об этом времени витает вокруг меня, неосязаемое, как замирающий отголосок болтовни глупой, жестокой, непристойной, дикой или просто подлой и лишенной какого бы то ни было смысла. Голоса, голоса… и даже сама девушка…

Марлоу долго молчал.

– Призрак я заклял в конце концов ложью, – начал он внезапно. – Девушка! Как? Я упомянул о девушке? О, она в этом не участвует. Они – женщины, хочу я сказать – стоят в стороне и должны стоять в стороне. Мы должны помочь им в их прекрасном мире, чтобы наш мир не

сделался еще хуже. О да, ей суждено было остаться в стороне. Если б вы слышали, как мистер Куртц – этот вырытый из земли труп – говорил: «Моя нареченная». Тогда вы бы поняли, что ей нет места в его мире. Высокий лоб мистера Куртца! Говорят, волосы иногда продолжают расти после смерти, но этот… гм… субъект был поразительно лыс. Дикая глушь погладила его по голове, и – смотрите! – голова его уподобилась шару – шару из слоновой кости. Глушь его приласкала, и – о, чудо! – он зачах. Она его приняла, полюбила, проникла в его вены, в его плоть, наложила свою печать на его душу, проделала над ним какие-то дьявольские церемонии посвящения. Он был ее избалованным и изнеженным фаворитом. Слоновая кость? Ну, еще бы! Груды слоновой кости. Старая хижина из глины была битком набита. Можно было подумать, что во всей стране не осталось ни одного бивня в земле и на земле. «Все больше ископаемые», – презрительно заметил начальник. Но с таким же успехом можно и меня считать ископаемым. Ископаемой они называли слоновую кость, вырытую из земли. Оказывается, эти негры иногда зарывают бивни в землю, но, видимо, им не удалось зарыть их достаточно глубоко, чтобы спасти одаренного мистера Куртца от его судьбы.

Мы погрузили бивни на пароход, и целая гора лежала на палубе. Таким образом, Куртц мог смотреть и наслаждаться, так как способность оценки не покидала его до последней минуты. Слыхали б вы, как он говорил: «Моя слоновая кость!» О, я его слышал! «Моя нареченная, моя слоновая кость, моя станция, моя река, мое…» Все принадлежало ему. Затаив дыхание, я ждал, что глушь разразится жутким раскатистым смехом, от которого звезды содрогнутся на небе. Все принадлежало ему, но суть была не в этом. Важно было знать, кому принадлежал он, какие силы тьмы предъявляли на него свои права. От этих размышлений мурашки пробегали по спине. Невозможно – и опасно было выводить заключение. Он занимал высокий пост среди демонов той страны – я говорю не иносказательно.

Вы не можете это понять. Да и как вам понять? Под вашими ногами прочная мостовая, вы окружены добрыми соседями, которые готовы вас развеселить или, деликатно проскользнув между мясником и полисменом, наброситься на вас, охваченные священным ужасом перед скандалом, виселицей и сумасшедшим домом. Как же можете вы себе представить, в какую тьму первобытных веков забредет свободный человек, вступивший на путь одиночества – полного одиночества, без полисмена, – на путь молчания, полного молчания, когда не слышно предостерегающего голоса доброго соседа, который нашептывает вам об общественном мнении? Все эти мелочи и составляют великую разницу. Когда их нет, вы должны опираться на самого себя, на свою собственную силу и способность соблюдать верность. Конечно, вы можете оказаться слишком глупым, чтобы сбиться с пути, слишком тупым, чтобы заметить обрушившиеся на вас силы тьмы. Я считаю, что никогда ни один глупец не продавал своей души черту: либо глупец оказался слишком глупым, либо в черте было слишком много чертовщины.

Или, быть может, вы относитесь к категории тех экзальтированных созданий, которые глухи и слепы ко всему, кроме небесных знамений и звуков. Тогда земля для вас – лишь случайное пристанище, и я не берусь сказать, выигрываете ли вы от этого или проигрываете. Но к большинству из нас все эти определения не подходят. Для нас земля – место, где мы живем, где мы должны мириться со всеми звуками, образами и запахами. Да, черт возьми, мы должны вдыхать запах гниющего гиппопотама и не поддаваться заразе. И тогда на сцену выступает наша выносливость, вера в нашу способность закопать это гниющее тело и наша преданность – преданность не себе, но непосильному темному делу. И это не очень-то легко.

Поймите, я не пытаюсь что-либо изменить или объяснить – я хочу понять, понять мистера Куртца или тень мистера Куртца. Этот посвященный в таинства призрак из Ниоткуда, перед тем как окончательно исчезнуть, удостоил меня поразительными признаниями. Объясняется это тем, что он мог говорить со мной по-английски. Образование Куртц получил главным образом в Англии, и – как он сам соизволил сказать – эта страна достойна его привязанности. Его мать была наполовину англичанкой, отец – наполовину французом. Вся Европа

участвовала в создании Куртца. Как я со временем узнал, «Международное общество по просвещению дикарей» поручило ему написать отчет, каковым можно было бы руководствоваться в дальнейшей работе. И он этот отчет написал. Я его видел, читал. Отчет красноречивый, но, сказал бы я, написанный на высоких нотах. Он нашел время исписать мелким почерком семнадцать страниц! Но, должно быть, это было им написано до того как… ну, скажем, нервы его расходились и побудили мистера Куртца председательствовать во время полунощной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами. Впоследствии я, к досаде своей, разузнал, что обряды эти совершались в честь его… вы понимаете? – в честь самого мистера Куртца.

Но статья была прекрасная. Впрочем, теперь, когда сведения мои пополнились, вступление к статье кажется мне зловещим. Куртц развивал ту мысль, что мы, белые, достигшие известной степени развития, «должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными. Мы к ним приходим могущественными, словно боги» – и так далее и так далее. «Тренируя нашу волю, мы можем добиться власти неограниченной и благотворной…» Начиная с этого места он воспарил и прихватил меня с собой. Заключительные фразы были великолепны, но трудно поддавались запоминанию. У нас сохранилось впечатление о мире экзотическом, необъятном, управляемом могущественной благой силой. Я преисполнился энтузиазма. Такова неограниченная власть красноречия – пламенных, благородных слов.

Никакие практические указания не врывались в магический поток фраз, и только в конце последней страницы – видимо, спустя большой промежуток времени – была нацарапана нетвердой рукой заметка, которую можно рассматривать как изложение метода. Она очень проста и, после трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам, она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе: «Истребляйте всех скотов!» Любопытно то, что он, видимо, позабыл об этом многозначительном постскриптуме, ибо позднее, придя, так сказать, в себя, настойчиво умолял меня хранить «памфлет» (так называл он свою статью), который должен был благоприятно отразиться на его карьере. Обо всем этом у меня имелись точные сведения, а в будущем мне пришлось позаботиться и о его добром имени. Я достаточно об этом позаботился – и потому, если бы захотел, имел полное право бросить этот памфлет в мусорную кучу прогресса – туда, где, фигурально выражаясь, покоятся все дохлые кошки цивилизации. Но, видите ли, у меня не было выбора. Мистера Куртца нельзя было забыть, так как он, во всяком случае, человек незаурядный. Он имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску; он умел вселить злобные опасения в маленькие душонки пилигримов; он приобрел, во всяком случае, одного преданного друга, и он завоевал одну душу в мире, отнюдь не первобытную и не зараженную самоанализом.

Да, я не могу его забыть, хотя и не собираюсь утверждать, что он стоил того человека, которого мы потеряли, чтобы до него добраться. Мне не хватало моего погибшего рулевого; я остро ощущал его отсутствие даже в тот момент, когда тело его еще лежало в рулевой рубке. Пожалуй, нам покажется странным это сожаление о дикаре, который имел не больше значения, чем песчинка в черной Сахаре. Но поймите, он что-то делал, он правил рулем. В течение многих дней он стоял за моей спиной – мой помощник, мое орудие. Это было своего рода товарищество. Он правил за меня – я следил за ним. Меня тревожили его недостатки, и вот протянулась между нами тонкая нить, которую я заметил лишь тогда, когда она внезапно оборвалась. А глубокий задушевный взгляд, какой он на меня бросил, когда ему нанесли удар… я помню по сей день как утверждение далекого родства.

Бедняга! Если б только он не трогал этого ставня! У него не было выдержки – как не было ее у Куртца… Дерево, раскачиваемое ветром… Надев сухие туфли, я вытащил его из рубки. Предварительно я вырвал у него из бока копье, причем, признаюсь, эту операцию я произвел с закрытыми глазами. Его пятки очутились за порогом; плечи его я прижимал к своей груди. Я

обнял его сзади и тащил. О, каким он был тяжелым! Мне он казался тяжелее любого человека на земле. Затем, не теряя времени, я спустил его за борт. Течение его подхватило, словно он был пучок травы; я видел, как тело два раза перевернулось и скрылось навеки.

Все пилигримы и начальник собрались на верхней палубе около рулевой рубки и трещали, словно стая взволнованных сорок; возмущенным шепотом отозвались они на мой бессердечный поступок. Зачем было им оставлять здесь это тело – я не могу догадаться. Быть может, они собирались его набальзамировать. Но с нижней палубы донесся до меня шепот – зловещий шепот. Мои друзья дровосеки также были скандализованы, и не без причины, но, признаюсь, их расчеты казались мне недопустимыми. Я решил, что если моему покойному рулевому суждено быть съеденным, то пусть его съедят одни рыбы. При жизни он был посредственным рулевым, а после смерти мог сделаться первоклассным искусителем и, пожалуй, вызвать серьезное волнение. Кроме того, я хотел поскорее занять место у штурвала, так как парень в розовой пижаме оказался безнадежным идиотом.

Покончив с несложными похоронами, я поспешил его сменить. Мы шли тихим ходом, придерживаясь середины реки, и я прислушивался к разговорам, какие велись вокруг меня. Пилигримы потеряли надежду увидеть Куртца, увидеть станцию. Куртц умер, станция сожжена. Рыжеволосый пилигрим радовался, что бедняга Куртц во всяком случае отомщен.

– Послушайте, ведь мы их здорово отделали, когда стреляли по кустам? А? Как вы думаете? Скажите?

Он буквально приплясывал – этот кровожадный рыжий человечек! А ведь он едва не упал в обморок, увидев раненого. Я не выдержал и сказал:

– Во всяком случае, дыму вы много напустили. Я видел по тому, как шелестели верхушки кустов, что все пули летели слишком высоко. – Нужно прицеливаться и держать ружье у плеча, а эти парни держали ружья у бедра и стреляли зажмурившись. Отступление, утверждал я – и не ошибался – было вызвано пронзительным свистком парохода. Тут они позабыли о Куртце и негодующе запротестовали.

Начальник стоял у штурвала и конфиденциально шептал мне, что до наступления темноты мы должны спуститься по реке и убраться подальше от этих мест. Вдруг я увидел вдали просеку на берегу реки и контуры какого-то строения.

– Что это? – спросил я.

Изумленный, он захлопал в ладоши и крикнул:

– Станция!

Не прибавляя ходу, я тотчас же повернул к берегу.

В бинокль я увидел отдельные деревья на склоне холма, очищенного от кустарника. Длинное разваливающееся строение на вершине было почти скрыто высокой травой; издали видны были большие черные дыры, зиявшие в остроконечной крыше. Фоном служили заросли и лес. Я не заметил никакой изгороди, но, очевидно, раньше она здесь была, так как перед домом вытянулись в ряд шесть тонких столбов, грубо обструганных и украшенных круглыми шарами. Перекладин между ними не было. Конечно, лес обступал просеку. Берег был расчищен, и у самой воды я увидел белого человека в шляпе, похожей на колесо, который настойчиво махал нам рукой. Вглядываясь в опушку леса, я почти с уверенностью мог сказать, что там мелькали какие-то человеческие фигуры. Я осторожно провел пароход дальше, затем остановил машины; судно слегка отнесло течением назад. Человек на берегу начал кричать, предлагая нам пристать к берегу.

– На нас было нападение! – завопил начальник.

– Знаю, знаю. Все в порядке! – беззаботно заорал в ответ человек с берега. – Причаливайте. Все в порядке. Я очень рад.

Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мною виденное. Маневрируя, чтобы подойти к берегу, я задавал себе вопрос: «На кого похож этот парень?» И вдруг

вспомнил: он был похож на арлекина. Его костюм – кажется, из небеленого холста – был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами – синими, красными и желтыми; заплаты красовались спереди, сзади, на локтях, на коленях; цветная полоса опоясывала куртку, алой материей был обшит низ брюк. Освещенный солнцем, он казался удивительно пестрым и в то же время очень опрятным, так как вы могли разглядеть, с какой аккуратностью нашиты все эти заплаты. Белокурый; безбородое мальчишеское лицо; ни одной резкой черты; маленькие голубые глазки; нос, с которого почти облупилась кожа; улыбки и гримасы, гонявшиеся друг за другом по открытому лицу, как гоняются солнечные блики и тени по равнине, обвеваемой ветром.

– Осторожнее, капитан! – крикнул он. – Здесь затонула прошлой ночью коряга.

Как? Еще одна коряга! Признаюсь, я непристойно выругался. К концу нашего восхитительного путешествия я едва не продырявил свое искалеченное судно. Арлекин, стоявший на берегу, повернул ко мне свой приплюснутый носик.

– Вы англичанин? – крикнул он, расплываясь в улыбке.

– А вы? – откликнулся я, стоя у штурвала.

Улыбка сбежала с его лица, и он покачал головой, как бы огорченный моим разочарованием; потом снова просиял.

– Ну ничего! – ободряюще крикнул он.

– Не опоздали мы? – спросил я.

– Он там, наверху, – ответил тот, мотнув головой в сторону холма и внезапно погружаясь в уныние. Его лицо напоминало осеннее небо – то пасмурное, то залитое солнечным светом.

Когда начальник в сопровождении вооруженных до зубов пилигримов сошел на берег и направился к дому, арлекин явился ко мне на борт.

– Послушайте, мне это не нравится, – сказал я, – туземцы бродят там в кустах.

Он торжественно меня уверил, что все обстоит благополучно, а затем добавил:

– Они – люди простые. Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться.

– Но вы говорите, что все обстоит благополучно! – воскликнул я.

– О, у них не было злого умысла, – сказал он, а когда я вытаращил глаза, он поправился: – Да, в сущности, не было. – Потом быстро добавил: – Ах, боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить!

Через секунду он уже советовал мне поддерживать пар в котле, чтобы в случае тревоги дать свисток.

– Один свисток произведет большее впечатление, чем все ваши ружья. Они – люди простые, – повторил он.

Он говорил так быстро, что совершенно меня ошеломил. Казалось, он хотел наверстать потерянное время, и так оно и было, – он сам со смехом на это намекнул.

– Разве вы не разговариваете с мистером Куртцем? – спросил я.

– С этим человеком не разговаривают – его слушают! – воскликнул он восторженно и строго. – Но теперь…

Он махнул рукой и мгновенно погрузился в самую бездну отчаяния. Через секунду он уже оттуда выкарабкался, завладел обеими моими руками и, не переставая их трясти, забормотал:

– Брат – моряк… честь… удовольствие… наслаждение… разрешите представиться… русский… сын архиерея[4]… Тамбовской губернии… Что? Табак! Английский табак! Превосходный английский табак! Вот это по-братски. Курю ли? Где вы найдете моряка, который не курит?

[4] Так у Дж. Конрада.

Трубка его успокоила, и вскоре я узнал, что он убежал из школы, ушел в море на русском судне, снова убежал, одно время служил на английских судах и теперь примирился с архиереем. Этот пункт он подчеркнул.

– Но когда человек молод, он должен видеть мир, набираться новых впечатлений, идей, расширять свой кругозор…

– Здесь! – перебил я.

– Как можно знать заранее? Здесь я встретил мистера Куртца, – сказал он укоризненно и с юношеской торжественностью.

Я прикусил язык. Выяснилось, что он убедил представителя одной голландской фирмы на побережье снабдить его товарами и провиантом, и потом отправился в глубь страны с легким сердцем и как младенец, не ведая того, что ждет его впереди. Около двух лет он странствовал по берегам этой реки, одинокий, отрезанный от всего и от всех.

– Я не так молод, как кажется. Мне двадцать пять лет, – сказал он. – Сначала старик Ван-Шьютен хотел послать меня к черту, – рассказывал он, от души забавляясь, – но я к нему пристал и говорил, говорил без конца, так что он наконец испугался, как бы я не заговорил зубы его любимой собаке. Тогда он мне дал дешевых товаров и несколько ружей и выразил надежду, что никогда больше не увидит моей физиономии. Славный старик голландец – этот Ван-Шьютен. Год назад я ему послал немного слоновой кости, так что он не сможет назвать меня вором, когда я вернусь. Надеюсь, он ее получил. А больше я ни о чем не беспокоюсь. Я заготовил для вас дров. Там было мое старое жилище. Вы видели?

Я передал ему книгу Тоусона. Казалось, он хотел меня поцеловать, но удержался.

– Единственная книга, которую я оставил. А я-то думал, что потерял ее, – сказал он, смотря на нее словно в экстазе. – Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком, который путешествует в одиночестве! Иногда каноэ перевертываются, а иногда приходится поскорей удирать, если туземцы рассердятся.

Он перелистывал книгу.

– Вы делали заметки на русском языке? – спросил я. Он кивнул головой.

– Я думал, что это какой-то шифр, – сказал я.

Он рассмеялся, потом сразу сделался серьезным и проговорил:

– Вы не знаете, как мне было трудно справиться с туземцами.

– Они хотели вас убить? – спросил я.

– О нет! – воскликнул он и умолк.

– Почему они на нас напали? – продолжал я.

Он замялся, потом сконфуженно сказал:

– Они не хотят, чтобы он уехал.

– Не хотят? – с любопытством переспросил я.

Он кивнул таинственно и многозначительно.

– Говорю вам, этот человек расширил мой кругозор! – воскликнул он и широко раскинул руки, глядя на меня своими круглыми голубыми глазками.

III

Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный, фантастический, словно удрал из труппы мимов. Самое его существование казалось невероятным, необъяснимым, сбивающим с толку. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко, как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб.

– Я отправился в путь, – сказал он, – забирался понемногу все дальше и дальше и наконец зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад. Ну, ничего! Времени много. Выживу. А вы увезите Куртца. И поскорей, поскорей, говорю вам.

Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрых лохмотьях, нищем, покинутом, одиноком в его бесплодных исканиях. В течение многих месяцев, в течение нескольких лет жизнь его висела на волоске, но он продолжал жить, безумный и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и зависть. Чары увлекали его вперед, спасали от гибели. От дикой глуши он не требовал ничего, кроме возможности дышать и пробиваться дальше. Ему нужно было жить и идти вперед, подвергая себя величайшему риску и лишениям. Если чистый, бескорыстный, непрактичный дух авантюризма управлял когда-либо каким-нибудь человеком, то, несомненно, этим человеком был мой заплатанный юнец. Я готов был позавидовать ему, горевшему этим скромным и ясным пламенем. Казалось, пламя поглотило всякую себялюбивую мысль, и когда он говорил, вы забывали, что он сам, стоящий перед вами, прошел через все эти испытания. Однако я не завидовал его преданности Куртцу. О ней он не размышлял – он ее принял с каким-то страстным фатализмом. Должен сказать, мне эта преданность казалась значительно опаснее всего того, через что он уже прошел.

Встреча их была неизбежна, как встреча двух судов, вместе застигнутых штилем и наконец соприкоснувшихся бортами. Думаю, Куртц нуждался в слушателе, ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или – вернее – говорил один Куртц.

– Мы говорили обо всем, – с восторгом сообщил мне молодой человек. – Я позабыл о сне. Ночь пролетела, как один час. Обо всем! Обо всем!.. И о любви.

– А, он говорил с вами о любви! – сказал я, от души забавляясь.

– Не о той любви, о какой вы думаете! – страстно воскликнул он. – О любви вообще. Он показал мне мир – мир!

Он воздел руки к небу. В тот момент мы находились на палубе, и старшина моих дровосеков, бродивший поблизости, посмотрел на него своими мрачными сверкающими глазами. Я огляделся по сторонам, и – уверяю вас – никогда еще не казались мне эта страна, эта река, заросли, ослепительный купол неба такими безнадежными и сумрачными, непроницаемыми для человеческой мысли и безжалостными к человеческой слабости.

– И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним? – спросил я.

Я ошибался. Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались. Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить Куртца, когда тот два раза был болен (казалось, свой поступок он считал каким-то рискованным подвигом), но обычно Куртц скитался один, забираясь в самые дебри лесов.

– Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения, – сказал он. – Ах, этого стоило ждать… иногда.

– Что же он делал? Исследовал страну? – спросил я.

– О да, конечно.

Выяснилось, что Куртц нашел много деревень, а также озеро, но собеседник мой не знал, где именно расположено это озеро: рискованно было задавать Куртцу слишком много вопросов; но обычно целью его экспедиций была добыча слоновой кости.

– Но ведь к тому времени у него не осталось товаров для обмена, – возразил я.

– На станции и сейчас еще есть много патронов, – ответил он, глядя в сторону.

– Иными словами, он совершал набеги, – сказал я.

Тот кивнул.

– Но не один же!

Он пробормотал что-то о деревнях близ озера.

– Куртц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли? – подсказал я.

Он замялся, потом ответил:

– Они его боготворили.

Тон его показался мне таким странным, что я зорко на него посмотрел. Любопытно было, что ему страстно хотелось говорить о Куртце, и в то же время что-то его удерживало… Этот человек заполнил его жизнь, занимал его мысли, подчинил все его эмоции.

Наконец он не выдержал.

– Чего вы хотите? Он пришел к ним и принес с собою гром и молнию… Ничего похожего на это они раньше не видели. И он был страшен. Он умеет быть страшным. Нельзя судить о мистере Куртце, как вы стали бы судить о заурядном человеке. Нет, нет! Чтобы вы яснее его себе представили, я могу сказать, что он и меня хотел однажды пристрелить… но я его не осуждаю.

– Вас пристрелить! – воскликнул я. – За что?

– Видите ли, у меня было немного слоновой кости, которую мне дал вождь одной деревушки неподалеку от моего жилища. Я, бывало, стрелял для них дичь. Куртц потребовал, чтобы я ее отдал ему, и слушать не хотел никаких возражений. Он заявил, что пристрелит меня, если я ему не отдам слоновой кости и не уберусь из этих краев. Он мог меня пристрелить, и ничто на земле не помешало бы ему убить того, кого ему вздумается. Это была правда. Я ему отдал слоновую кость. Не все ли мне было равно? Но не уехал, нет. Я не мог его оставить. Конечно, мне приходилось быть очень осторожным, пока мы снова не подружились – на время. Тогда он заболел вторично. А потом я старался не попадаться ему на пути; но я не сердился. Большую часть времени он проводил в этих деревнях у озера. Когда он спускался к реке, он иногда бывал ласков со мной, а иногда я должен был его остерегаться. Этот человек слишком много страдал. Все это он ненавидел, но почему-то не мог отсюда уйти. Когда представлялся удобный случай, я умолял его уехать, пока не поздно; я предлагал вернуться вместе с ним. Он соглашался, а потом оставался; снова охотился за слоновой костью; пропадал по целым неделям; забывал о себе среди этих людей. Вы понимаете – забывал о себе.

– Да ведь он сумасшедший! – воскликнул я.

Мой собеседник негодующе запротестовал. Мистер Куртц не мог быть сумасшедшим. Если бы я слышал, как он разговаривал всего два дня назад, я бы и заикнуться не посмел о чем-либо подобном…

Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лес, подступивший к дому справа, слева и сзади. Я был неспокоен, зная, что в зарослях притаились люди, безмолвные, неподвижные – такие же безмолвные и неподвижные, как этот разрушенный дом на холме. Глядя на лик природы, я не находил подтверждения этой изумительной повести, которая не столько была рассказана, сколько внушена мне унылыми восклицаниями, пожиманием плеч, оборванными фразами, намеками, переходившими в глубокие вздохи. Лес казался неподвижным, как маска, тяжелым, как запертая тюремная дверь; он словно скрывал свою тайну – терпеливый, выжидающий, неприступно молчаливый.

Русский сообщил мне, что совсем недавно мистер Куртц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов приозерного племени. В отсутствии он пробыл несколько месяцев – должно быть, собирал дань почитания – и явился неожиданно, видимо намереваясь вторгнуться в селения на другом берегу реки или ниже по течению. Очевидно, страсть к слоновой кости одержала верх над иными… как бы это сказать?.. менее материалистическими побуждениями. Но внезапно он почувствовал себя значительно хуже.

– Я услышал, что он лежит беспомощный… Вот я и пришел, воспользовался случаем, – сказал русский. – О, ему плохо, очень плохо.

Я направил бинокль на дом. Там незаметно было признаков жизни; виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон; бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я вам говорил, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также – для коршунов, если бы таковые парили в небе; и, во всяком случае, они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на столб. Еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете. Я отшатнулся потому, что был изумлен: я рассчитывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками, она как будто спала на верхушке столба; сморщенные сухие губы слегка раздвинулись, обнажая узкую белую полоску зубов; это лицо улыбалось, улыбалось вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению.

Я не разоблачаю секретов торговой фирмы. Как сказал впоследствии начальник – метод мистера Куртца повредил работе в этих краях. Своего мнения по этому вопросу я не имею, но я хочу вам объяснить, что никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колья. Они лишь свидетельствовали о том, что мистер Куртц, потворствовавший разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепное его красноречие. Знал ли он об этом своем недостатке, я не могу сказать. Думаю, что глаза его открылись в последнюю минуту. Но дикая глушь рано его отметила и жестоко ему отомстила за фанатическое вторжение. Думаю, она шепотом рассказала ему о нем самом то, чего он не знал, о чем не имел представления, пока не прислушался к своему одиночеству, и этот шепот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота… Я опустил бинокль, и голова, торчавшая так близко, что, казалось, с ней можно заговорить, сразу отскочила вдаль.

Поклонник мистера Куртца приуныл. Торопливо, невнятно начал он меня уверять, что не посмел снять со столбов эти, скажем, символы. Туземцев он не боялся; они не двинутся с места до тех пор, пока мистер Куртц не отдаст распоряжения: его влияние безгранично. Эти люди расположились лагерем вокруг станции, и вожди каждый день его навещали. Они пресмыкались…

– Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Куртцу! – крикнул я. Любопытно, что такие детали отталкивали меня сильнее, чем эти головы, сушившиеся на кольях под окнами мистера Куртца. В конце концов, то было лишь варварское зрелище, тогда как я одним прыжком перенесся в темную страну ужасов, где успокоительно действовало на вас чистое, неприкрытое варварство, видимо, имеющее право существовать под солнцем. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением. Думаю, ему не пришло в голову, что

мистер Куртц не был моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Куртца… о чем? о любви, справедливости, поведении в жизни. Уж если речь зашла о пресмыкании перед мистером Куртцем, то он пресмыкался не хуже любого из дикарей. По его словам, я понятия не имел о здешних условиях; эти головы были головами мятежников. Услышав мой смех, он был возмущен. Мятежники! Какое еще определение предстояло мне услыхать? Я слыхал о врагах, преступниках, работниках, а здесь были мятежники. Эти мятежные головы казались мне очень покорными на своих кольях.

– Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как Куртц! – воскликнул последний ученик Куртца.

– А о себе что вы скажете? – осведомился я.

– Я! Я! Я – человек простой. У меня нет великих замыслов. Мне ничего ни от кого не нужно. Как можете вы сравнивать меня с …?

Он не в силах был выразить свои чувства, пал духом и простонал:

– Не понимаю… Я делал все, чтобы сохранить ему жизнь, и этого достаточно. В его делах я не участвовал. У меня нет никаких способностей. Здесь в течение нескольких месяцев не было ни капли лекарства, ни куска пищи, какую можно дать больному. Его позорно покинули. Такого человека! С такими идеями! Позор! Позор! Я не спал последние десять дней…

Голос его замер, растворился в вечерней тишине. Пока мы разговаривали, длинные тени леса скользнули вниз по холму, протянулись ниже разрушенной хижины и символического ряда кольев. И дом и колья были окутаны сумерками, а мы внизу стояли, освещенные солнцем, и полоса реки у просеки сверкала ослепительным блеском, но выше по течению и ниже у поворота спускались темные тени. Ни души не было на берегу. В кустах не слышно было шороха.

Вдруг из-за угла дома вышла группа людей, словно вынырнувших из-под земли. Они шли по пояс в траве и несли самодельные носилки. И внезапно вырвался пронзительный крик, который прорезал неподвижный воздух, словно острая стрела, направленная в самое сердце земли. Мгновенно, как по волшебству, поток людей, обнаженных людей с копьями, луками, мечами, людей, бросающих дикие взгляды, – хлынул на просеку темноликого и задумчивого леса. Затрепетали кусты, заволновалась трава – потом все застыло настороженно.

– Теперь, если он не скажет им нужного слова, все мы погибли, – пробормотал русский.

Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к пароходу. Я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку, возвышаясь над плечами носильщиков.

– Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас на этот раз, – сказал я. С горечью думал я о грозившей нам нелепой опасности, словно считал бесчестием полагаться на милость этого жестокого призрака. Я не мог расслышать ни одного звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Куртц… Куртц… кажется, по-немецки это значит – короткий? Ну что ж! В фамилии этого человека было столько же правды, сколько в его жизни и… смерти. Он был не меньше семи футов ростом. Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот… в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед, и почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух.

Пилигримы, шедшие за носилками, несли его оружие – два карабина, винтовка, револьвер – громовые стрелы этого жалкого Юпитера. Начальник, шагавший у изголовья носилок, наклонился, шепча ему что-то на ухо. Они положили его в одной из маленьких кают, где едва могла поместиться койка да один-два складных стула. Мы принесли ему его запоздавшие письма; разорванные конверты и исписанные листки усеяли постель. Слабой рукой он их перебирал. Меня поразили его горящие глаза и усталое спокойное лицо. Не только болезнь его истощила. Казалось, боли он не чувствовал. Эта тень выглядела пресыщенной и спокойной, словно в данный момент все страсти ее были удовлетворены.

Он перелистал одно из писем и, глядя прямо мне в лицо, сказал:

– Я рад.

Кто-то писал ему обо мне. Снова дали о себе знать эти особые рекомендации. Меня удивил его громкий голос; а ведь говорил он без всяких усилий – едва шевеля губами. Голос! Голос! Торжественный, глубокий, вибрирующий – тогда как при виде этого человека не верилось, что он сможет говорить хотя бы шепотом. Однако у него, как вы сейчас услышите, хватило сил – искусственно возбужденных, несомненно – едва не покончить со всеми нами.

В дверях показался начальник. Я тотчас же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский, за которым с любопытством наблюдали пилигримы, пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом.

Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки две освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копья, – воинственные и неподвижные фигуры, похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины.

Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские украшения. Она высоко несла голову; прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен; проволочные латные рукавицы поднимались до локтя; красные пятна горели на ее коричневых щеках; бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты – подарки шаманов – сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами; что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступи. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу.

Она поравнялась с пароходом, остановилась и повернулась к нам лицом. Длинная ее тень протянулась к самой воде. Ее лицо, трагическое и жестокое, было отмечено печатью дикой скорби, немой муки и страха перед каким-то еще не оформившимся решением. Она стояла неподвижно, смотрела на нас и словно размышляла над неисповедимой тайной. Прошла минута. Она сделала шаг вперед. Послышалось тихое позвякивание, блеснул желтый металл, взметнулась обшитая бахромой одежда, и женщина остановилась, словно мужество ей изменило. Русский, стоявший подле меня, что-то проворчал. Пилигримы перешептывались за моей спиной. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, немигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось, обуреваемая безумным желанием коснуться неба… и в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание.

Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли.

– Вздумай она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить, – нервничая, сказал человек с заплатами. – В течение последних двух недель я каждый день рисковал жизнью, не позволяя этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-

за этих жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный. А она, должно быть, из-за этого взбесилась и, как фурия, целый час говорила что-то Куртцу, то и дело указывая на меня. Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, Куртц в тот день чувствовал себя очень плохо, а не то быть беде. Не понимаю… Да, это превышает мое понимание. Но теперь все кончено.

В эту минуту я услышал глубокий голос Куртца за занавеской:

– Спасти меня! Спасти слоновую кость, хотите вы сказать. Не убеждайте меня. Спасти меня! Да ведь мне пришлось спасать вас. А теперь вы мне мешаете. Болен! Болен! Не так сильно болен, как вам хочется думать. Ничего! Я еще проведу свои планы. Я вернусь и покажу вам, что может быть сделано. Вы с вашими идеями мелких торгашей – вы мне мешаете. Я вернусь. Я…

На палубу вышел начальник. Он удостоил взять меня под руку и отвести в сторону.

– Плох, очень плох, – сказал он и счел нужным вздохнуть, однако не старался сохранить скорбный вид. – Мы для него сделали все, что могли, не так ли? Но что толку скрывать? Фирме мистер Куртц принес больше вреда, чем пользы. Он не понимал, что время для энергичных выступлений еще не пришло. Осмотрительность, осмотрительность – вот мой принцип! Мы должны действовать осторожно. Теперь этот округ временно для нас закрыт. Печально! Это повредит торговле. Я не отрицаю, что на станции имеются колоссальные запасы слоновой кости – главным образом ископаемой. Мы должны ее спасти во что бы то ни стало… Но посмотрите, какое создалось опасное положение. А почему? Потому что метод его нерационален.

– Вы это называете «нерациональным методом»? – спросил я, глядя на берег.

– Конечно! – воскликнул он с жаром. – А вы?..

– Никакого метода не было, – пробормотал я, помолчав.

– Совершенно верно, – обрадовался он. – Я это предвидел. Он проявил полную неспособность соображать. Мой долг – сообщить об этом куда следует.

– О, – сказал я, – этот парень… как его зовут?.. кирпичник составит для вас отчет, достойный того, чтобы его прочитали.

Начальник был, видимо, сбит с толку. Мне же казалось, что никогда еще я не дышал таким отравленным воздухом, и мысленно я обратился к Куртцу, ища успокоения… да, успокоения.

– И тем не менее я считаю, что мистер Куртц – замечательный человек, – сказал я внушительно.

Он вздрогнул, посмотрел на меня холодным тяжелым взглядом и сказал очень спокойно:

– Был замечательным человеком, – и повернулся ко мне спиной.

Час немилости пробил: я был отнесен в одну рубрику с Куртцем как сторонник методов, для которых время еще не пришло; я не знал о рациональных методах! Но все-таки я мог хотя бы делать выбор из кошмаров.

Собственно говоря, в поисках успокоения я обратился к дикой глуши, а не к мистеру Куртцу, который – против этого я не мог протестовать – был все равно что похоронен. И мне почудилось, будто я тоже погребен в могиле, полной необъяснимых тайн. Я чувствовал невыносимую тяжесть, навалившуюся мне на грудь, вдыхал запах сырой земли, ощущал власть гниения и тьму непроницаемой ночи… Русский тронул меня за плечо. Я слышал, как он бормотал:

– Брат-моряк… не мог утаить… сведения, которые повредят репутации мистера Куртца…

Я ждал. Видимо, для него мистер Куртц еще не лежал в могиле. Я подозревал, что он считает мистера Куртца одним из бессмертных.

– Ну что ж! – сказал я наконец. – Говорите начистоту. Выходит, что я – друг мистера Куртца… до известной степени.

Весьма официально он мне сообщил, что, не занимайся я одной с ним «профессией», он сохранил бы все в тайне, не заботясь о последствиях. Он подозревал, что к нему недоброжелательно относятся эти белые, которые…

– Вы правы, – перебил я, припоминая подслушанный мною разговор. – Начальник считает, что вас следовало бы повесить.

Он встревожился, и это меня сначала позабавило.

– Лучше мне потихоньку убраться с дороги, – сказал он задумчиво. – Для Куртца я больше ничего не могу сделать, а они всегда сумеют найти предлог. Что может их остановить? Военный пост находится на расстоянии трехсот миль отсюда.

– Да, – отозвался я, – пожалуй, лучше вам уйти, если есть у вас друзья среди этих дикарей.

– Друзей много. Они – люди простые, а мне, вы знаете, ничего не нужно…

Он стоял, покусывая губы, потом добавил:

– Я не хочу, чтобы какая-нибудь беда случилась с этими белыми. Конечно, я думал о репутации мистера Куртца, но вы – брат-моряк, и…

– Ладно, – сказал я, помолчав. – Я позабочусь о репутации мистера Куртца.

Тогда я не знал, сколько правды было в моих словах.

Понизив голос, русский сообщил мне, что это Куртц отдал распоряжение напасть на пароход.

– Иногда ему невыносимо было думать, что его увезут… а потом снова… Но я таких вещей не понимаю. Я человек простой. Он думал, что это вас испугает – вы решите, что он умер, и повернете назад. Я не мог его уговорить. О, я натерпелся за этот последний месяц!

– Ладно, – сказал я, – теперь все в порядке.

– Д-а-а, – протянул он, видимо не совсем успокоенный.

– Благодарю вас, – сказал я. – Я буду держаться настороже.

– Но вы будете молчать? – с тревогой спросил он. – Подумайте, как пострадает его репутация, если кто-нибудь…

Торжественно я обещал ему хранить тайну.

– Тут неподалеку меня ждет каноэ с тремя чернокожими. Я уезжаю. Не можете ли вы дать мне несколько патронов для «мартини»?

Я исполнил его просьбу. Подмигнув мне, он взял пригоршню моего табаку.

– Братья-моряки… славный английский табак.

В дверях рубки он приостановился.

– Послушайте, нет ли у вас лишней пары ботинок? Смотрите! – Он поднял ногу. Подошвы были привязаны веревками к босой ноге, как сандалии. Я разыскал старые ботинки. Он посмотрел на них с восторгом и сунул под левую руку. Один из карманов его куртки (ярко-красный) был набит патронами, из другого (темно-синего) торчала книжка Тоусона. Казалось, он считал себя превосходно экипированным для новой встречи с дикой глушью.

– Ах! Другого такого человека я никогда не встречу! Если бы вы слышали, как он декламировал стихи! Стихи собственного своего сочинения! – Он закатил глаза, упиваясь своими воспоминаниями. – О, он расширил мой кругозор.

– Прощайте, – сказал я. Он пожал мне руку и скрылся во мраке. Иногда я задаю себе вопрос, действительно ли я его видел, можно ли встретить на земле такой феномен!..

Когда я проснулся вскоре после полуночи, мне вспомнилось его предостережение, его намеки на грозившую нам опасность, и теперь, в звездной ночи, эта опасность показалась мне настолько реальной, что я решил встать и посмотреть, все ли спокойно. На холме пылал большой костер, отбрасывая трепещущие отблески на осевший угол станционного здания. Один из агентов с вооруженным отрядом наших чернокожих охранял слоновую кость; но в глубине леса, между черными, похожими на колонны стволами деревьев мелькали, то опускаясь, то поднимаясь над землей, красные огоньки, точно определявшие местоположение лагеря, где

бодрствовали встревоженные приверженцы мистера Куртца. Слышался монотонный бой барабана, и воздух наполнен был замирающими вибрациями и заглушенным стуком. Протяжный гул, в который сливались голоса многих людей, поющих какое-то жуткое заклятие, вырывался из-за черной стены лесов, как вырывается жужжание пчел из улья; это пенье странно, словно наркоз, подействовало на мой мозг, еще окутанный дремотой. Кажется, я снова задремал, прислонившись к поручням, пока не разбудили меня резкие, оглушительные крики – взрыв непонятного безумия, который привел меня в недоуменье. Крики сразу оборвались, и опять послышалось тихое гудение, действовавшее успокоительно, как молчание. Я заглянул в каюту. Там горел свет, но мистера Куртца в каюте не было.

Думаю, я поднял бы крик, если б сразу поверил своим глазам. Но сначала я не поверил – это показалось мне невероятным. Дело в том, что меня охватил безграничный страх, какой-то абстрактный ужас, не связанный с мыслями о физической опасности. Эта эмоция вызвана была душевным потрясением, словно я неожиданно наткнулся на что-то чудовищное, необъяснимое и отвратительное. Такое состояние длилось не больше секунды, а затем сменилось мыслью о грозившей нам смертельной опасности, о возможности нападения и резни. Эта мысль действовала умиротворяюще, и я ее приветствовал. Она настолько меня успокоила, что я решил не поднимать тревоги.

В трех шагах от меня спал, сидя на стуле, агент, закутанный в застегнутый доверху ульстер. Крики его не разбудили, он тихонько похрапывал. Я не нарушил его сна и прыгнул на берег. Я не предал мистера Куртца… Казалось, было предопределено, что я никогда его не предам и останусь верным избранному мною кошмару. Я горел желанием встретиться наедине с этой тенью. И по сей день я не знаю, почему мне так не хотелось разделить с кем-нибудь предстоявшее мне мрачное испытание.

Едва ступив на берег, я увидел след – широкий след в траве. Помню, с каким торжеством я сказал себе: «Он не может идти… ползет на четвереньках… я его поймал». Трава была мокрая от росы. Сжимая кулаки, я шел быстро. Кажется, я хотел налететь на него и приколотить. Не знаю. Мне приходили в голову нелепые мысли. Вспомнилась старуха с кошкой и с вязаньем – персонаж совсем неподходящий для участия во всем этом деле. Мелькнули пилигримы, они опрыскивали воздух свинцом из «винчестеров», держа ружье у бедра. Я думал, что никогда не смогу вернуться на пароход, буду жить в этих лесах, одинокий и безоружный, до самой старости. Вы знаете, какие глупые мысли приходят иногда в голову. Помню, я смешал бой барабана с биением моего сердца и остался доволен своим ровным пульсом.

Но все время я шел по следу; потом остановился и прислушался. Ночь была ясная; в темно-синем пространстве, залитом звездным светом, сверкала роса и неподвижно застыли черные тени. Мне почудилось, что кто-то движется впереди. В ту ночь я воспринимал все особенно остро. Я свернул в сторону и описал широкий полукруг (кажется, я бежал, посмеиваясь про себя), чтобы опередить этот движущийся предмет, если только он мне не почудился. Словно участвуя в мальчишеской игре, я старался перехитрить Куртца.

Я налетел на него, и, не услышь он моих шагов, – я бы на него упал, но он вовремя успел встать. Он поднялся, нетвердо держась на ногах, – длинный, бледный, неясный, как туман, поднимающийся над землей, и молча стоял передо мной, слегка покачиваясь; а за моей спиной мерцали огни между деревьями и доносился из леса гул голосов. Я ловко перерезал ему путь, но когда мы очутились лицом к лицу, я как будто опомнился и осознал опасность во всем ее неприкрашенном виде. Она еще отнюдь не миновала. Что, если б он начал кричать? Хотя он едва мог стоять, но для крика у него хватило бы силы.

– Уходите, спрячьтесь! – сказал он своим низким голосом.

Это было страшно. Я оглянулся. Тридцать ярдов отделяли нас от ближайшего костра. Я видел, как поднялась черная фигура, широко раздвинула длинные черные ноги, простерла

черные руки над костром. На голове ее были какие-то рога – кажется, рога антилопы. Несомненно, то был колдун, шаман, очень походивший на черта.

– Знаете ли вы, что вы делаете? – прошептал я.

– Знаю, – ответил он, повышая голос, чтобы произнести это одно слово. Оно прозвучало заглушенно и в то же время громко – словно окрик, вырвавшийся из рупора.

«Если он поднимет шум, мы погибли», – подумал я. Сейчас не время было пускать в ход кулаки, не говоря уже о том, что мне, естественно, не хотелось бить эту тень – это скитающееся и измученное существо.

– Вы погибнете, – сказал я, – окончательно погибнете.

Иногда бывают, знаете ли, такие проблески вдохновения. Я сказал как раз то, что нужно было сказать, хотя он мог считать себя погибшим и теперь – в тот момент, когда заложена была основа нашей близости, не оборвавшейся до самого конца и даже… после.

– У меня были грандиозные планы, – пробормотал он нерешительно.

– Да, – сказал я, – но если вы вздумаете кричать, я вам размозжу голову… – Поблизости не видно было ни палки, ни камня… – Я вас задушу, – поправился я.

– Я стоял у порога великих дел, – взмолился он с такой тоской, что кровь застыла у меня в жилах. – А теперь из-за негодяя и дурака…

– Ваш успех в Европе во всяком случае обеспечен, – твердо сказал я. Мне, видите ли, не хотелось его душить, да и вряд ли это принесло бы хоть какую-нибудь пользу. Я старался разрушить чары – тяжелые немые чары глуши, которая, казалось, влекла его безжалостно к себе, пробуждая забытые и зверские инстинкты и воспоминания об удовлетворенных и чудовищных страстях. Я был убежден, что только это и побудило его притащиться к опушке леса, к зарослям, к отблеску костров, к бою барабанов, к тягучему пению заклятий; только это и увлекло его преступную душу за пределы дозволенных стремлений. И, видите ли, ужас положения заключался не в возможности получить удар по голове – хотя я живо чувствовал и эту опасность, – но в том, что я имел дело с человеком, который ничего не признавал. Подобно неграм, я должен был взывать к нему самому, к этому восторженному и бесконечно павшему существу. Не было ничего выше или ниже его – и я это знал. Он оторвался от земли. Будь он проклят! Он остался один, и я, смотря на него, не знал, стою ли я на земле, или парю в воздухе.

Я вам рассказал, о чем мы с ним говорили, повторил фразы, какими мы обменялись… но что толку? То были банальные, повседневные слова, знакомые неясные звуки, какие можно услышать в любой день. Но не в этом дело. Мне они напоминали отзвук жутких слов, какие слышишь во сне, отзвук фраз, преследующих во время кошмара. Душа! Если приходилось кому-нибудь вести борьбу с душой, то таким человеком был я. И ведь я имел дело не с сумасшедшим. Верьте мне или не верьте, но ум у него был ясный, хотя все его помыслы упорно сосредоточивались на нем самом. Да, ум его был ясен, и это был единственный мой шанс, не считая, конечно, возможности его убить, но такой исход не принес бы мне пользы, так как неизбежно должен был вызвать шум. А душа его была одержима безумием. Заброшенная в дикую глушь, она заглянула в себя и – клянусь небом! – обезумела. Мне пришлось – должно быть, в наказание за мои грехи – подвергнуться испытанию и самому заглянуть в его душу. Никакие красноречивые доводы не могли бы до такой степени потрясти веру в человека, как эта последняя его вспышка откровенности. Он тоже боролся с собой. Я это видел, слышал. Я видел непостижимую тайну души, которая не знает ни удержу, ни веры, ни страха и, однако, борется вслепую сама с собой. Я сохранил присутствие духа; но когда мне удалось уложить его на кушетку, я вытер пот со лба, а ноги мои дрожали, словно я, спускаясь с того холма, тащил на своей спине груз в полтонны весом. А ведь я только его поддерживал, когда он своей костлявой рукой обнимал меня за шею. Он был немногим тяжелее ребенка.

Когда на следующий день, в полдень, мы снялись с якоря, толпа людей – все время я остро ощущал ее присутствие за стеной деревьев – снова вышла из леса и рассыпалась по просеке;

склон холма был покрыт обнаженными трепещущими бронзовыми телами. Я провел пароход вверх по течению, затем повернул его; две тысячи глаз следили за плескавшимся и стучавшим яростным демоном реки, который разбивал воду чудовищным своим хвостом и выдыхал в небо черный дым. Перед толпой у самой реки три человека, с головы до ног облепленные красной глиной, беспокойно шагали взад и вперед. Когда судно снова поравнялось с просекой, они повернулись лицом к реке, топая, кивая рогатыми головами; раскачивались их красные тела; они потрясали вслед яростному демону реки пучком черных перьев, облезшей шкурой с хвостом и каким-то предметом, походившим на высохшую тыкву; они выкрикивали какие-то удивительные слова, ничего общего не имеющие со звуками человеческой речи, а толпа глухим рокотом отвечала на эти заклятья, как бы участвуя в сатанинской литании.

Мы перенесли Куртца в рулевую рубку; там было больше воздуха. Лежа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа заволновалась, и женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками, подбежала к самой воде. Она простерла руки, выкрикнула какие-то слова, и вся масса дикарей хором быстро и членораздельно повторила ее фразу.

– Вы это понимаете? – спросил я.

Он смотрел мимо меня горящими тоскливыми глазами; взгляд его был сосредоточенный и злобный. Он ничего не ответил, но я видел, как улыбка, странная улыбка появилась на бесцветных губах; потом губы его судорожно искривились.

– Понимаю ли я? – проговорил он медленно, задыхаясь, словно какая-то сверхъестественная сила вырвала у него эти слова.

Я дернул веревку свистка; сделал я это потому, что видел, как пилигримы, решив позабавиться, вышли на палубу с ружьями. Когда раздался пронзительный свисток, ужас охватил эту сгрудившуюся толпу.

– Не надо! Не надо! Вы их спугнете! – досадливо крикнул кто-то на палубе. Снова я несколько раз дернул веревку. Люди бросились, ползли, припадая к земле, стараясь ускользнуть от страшных звуков. Три обмазанных красной глиной парня, словно подстреленные, упали ничком. И только величественная дикарка не шевельнулась и трагически простерла к мрачной и сверкающей реке свои обнаженные руки.

Тогда толпа идиотов на палубе начала забавляться, и я ничего не мог разглядеть сквозь завесу дыма.

Темный поток, вырываясь из сердца тьмы, уносил нас к морю; теперь мы шли в два раза быстрее, чем раньше; а жизнь Куртца так же быстро угасала, отливая от его сердца, чтобы влиться в море неумолимого времени. Начальник был настроен благодушно; теперь ему не о чем было беспокоиться, и обоих нас он окидывал взглядом понимающим и удовлетворенным: «дело» обошлось прекрасно, и лучшего исхода нельзя было пожелать. Я понимал, что близится время, когда я останусь единственным сторонником «нерационального метода». Пилигримы посматривали на меня неблагосклонно. Я был, так сказать, отнесен в одну рубрику с мертвецом. Странно, что я принял это нежданное товарищество, этот кошмар, навязанный мне в стране мрака, куда вторглись подлые и жадные призраки.

Куртц разглагольствовал. Ах, этот голос! Этот голос! До последней минуты он сохранил свою силу. Он пережил способность Куртца скрывать в великолепных складках красноречия темное и бесплодное его сердце. Куртц боролся. О, как он боролся! Его усталый мозг был словно одержим туманными видениями – призраками богатства и славы, раболепно склоняющимися перед его неугасимым даром расточать благородные и высокопарные фразы. Моя нареченная, моя станция, моя карьера, мои идеи – вот что служило предлогом для проявления возвышенных чувств. Тень подлинного Куртца появлялась у ложа мистификатора, которому суждено было быть погребенным в первобытной земле. Но дьявольская любовь и ужасная ненависть к тайнам, какие он открыл, боролись за обладание этой душой, пресыщенной

примитивными эмоциями, жаждущей лживой славы, фальшивых отличий и всех видимостей успеха и власти.

Иногда он бывал возмутительно ребячлив. Он желал, чтобы короли встречали его на станциях, – его, возвращающегося из какой-то призрачной страны, где он намеревался совершить великие дела.

– Нужно только им показать, что вы действительно способны принести пользу, и тогда вас ждет полное признание, – говорил он. – Конечно, не следует забывать о мотивах… мотивы должны быть честные.

За поворотами, всегда похожими один на другой, открывался все тот же вид на однообразную реку; пароход проплывал мимо вековых деревьев, которые терпеливо смотрели вслед этому грязному осколку другого мира, предвестнику перемен, побед, торговли, избиений и всяких благ. Я смотрел вперед и вел судно.

– Закройте ставень, – неожиданно сказал однажды Куртц. – Я не могу этого видеть.

Я исполнил его просьбу. Последовало молчание.

– О, но я еще вырву у тебя сердце! – крикнул он невидимой глуши.

Произошла поломка – я этого ждал, – и нам пришлось пристать к острову и заняться ремонтом. Эта задержка гибельно повлияла на уверенность Куртца. Как-то утром он мне вручил связку бумаг и фотографическую карточку; пакет был перевязан шнурком от ботинка.

– Спрячьте, – сказал он. – Этот зловредный дурак (он имел в виду начальника) способен рыться в моих сундуках, когда я не смотрю.

После полудня я заглянул к нему. Он лежал на спине с закрытыми глазами, и я хотел уйти, но он забормотал:

– Жить честно, умереть, умереть…

Я прислушался. Больше он не сказал ни слова. Произносил ли он речь во сне, или то был отрывок фразы для какой-нибудь газетной статьи? Он когда-то работал в газетах и думал снова заняться этим делом, «чтобы распространять мои идеи. Это – долг».

Его окутывал непроницаемый мрак. Я на него смотрел, как смотрят на человека, лежащего на дне пропасти, куда никогда не проникает луч солнца. Но я не мог ему уделять много времени, так как помогал механику разбирать на части протекающие цилиндры, выпрямлять согнутый шатун, производить ремонт. Я жил, окруженный гайками, опилками, ржавчиной, болтами, ключами для отвертывания гаек, молотками – предметами мне ненавистными, ибо я не умел с ними ладить. Я следил за маленькой кузницей, по счастью, оказавшейся на борту, я устало рылся в куче обломков, пока приступ лихорадки не заставлял меня лечь.

Как-то вечером, войдя со свечой в рубку, я испугался, услышав его дрожащий голос:

– Я лежу здесь, в темноте, и жду смерти.

Свет был на расстоянии фута от его глаз. Я с трудом прошептал:

– О, вздор! – и тревожно склонился над ним.

Я не представлял себе, чтобы могло так сильно измениться лицо человека, и – надеюсь – никогда больше этого не увижу. О, жалости я не чувствовал! Я был зачарован, словно передо мной разорвали пелену. Лицо цвета слоновой кости дышало мрачной гордостью; безграничная властность, безумный ужас, напряженное и безнадежное отчаяние – этим было отмечено его лицо. Вспоминал ли он в эту последнюю минуту просветления всю свою жизнь, свои желания, искушения и поражение? Он прошептал, словно обращаясь к какому-то видению… он попытался крикнуть, но этот крик прозвучал, как вздох:

– Ужас! Ужас!

Я задул свечу и вышел из рубки. Пилигримы обедали в кают-компании, и я занял свое место за столом против начальника. Тот поднял глаза и посмотрел на меня вопросительно, но я игнорировал этот взгляд. Он невозмутимо откинулся на спинку стула, улыбаясь странной своей улыбкой, словно запечатывавшей подлую его душонку. Мошки кружились роем вокруг

лампы, ползали по скатерти, по нашим рукам и лицам. Вдруг слуга начальника просунул в каюту свою черную голову и сказал с уничтожающим презрением:

– Мистер Куртц… умер.

Все пилигримы выбежали, чтобы посмотреть на него. Я один остался за столом и продолжал обедать. Думаю, меня сочли бесчувственной скотиной. Однако ел я немного. Здесь горела лампа, было, знаете ли, светло… а там, снаружи, нависла тьма. Больше я не подходил к замечательному человеку, который произнес приговор над похождениями своей души на земле. Голос угас. Что было у него, кроме голоса? Но мне известно, что на следующий день пилигримы что-то похоронили в грязной яме.

А потом они едва не похоронили меня.

Однако я, как видите, не последовал в ту пору за Куртцем. Да, я остался, чтобы пережить кошмар до конца и еще раз проявить свою верность Куртцу. Судьба. Моя судьба! Забавная штука – жизнь, таинственная, с безжалостной логикой преследующая ничтожные цели. Самое большее, что может получить от нее человек, это – познание себя самого, которое приходит слишком поздно и приносит вечные сожаления.

Я боролся со смертью. Это самая скучная борьба, какую только можно себе представить. Она происходит в серой пустоте, когда нет опоры под ногами, нет ничего вокруг, нет зрителей, нет блеска и славы; нет страстного желания одержать победу, нет великого страха перед поражением; вы боретесь в нездоровой атмосфере умеренного скептицизма, вы не уверены в своей правоте и еще меньше верите в правоту своего противника. Если такова высшая мудрость, то жизнь загадка более серьезная, чем принято думать. Я был на волосок от последней возможности произнести над собой приговор, и со стыдом я обнаружил, что, быть может, мне нечего будет сказать. Вот почему я утверждаю, что Куртц был замечательным человеком. Ему было что сказать. Он это сказал. С тех пор как я сам поглядел за грань, мне понятен стал взгляд его глаз, не видевших пламени свечи, но созерцавших вселенную и достаточно зорких, чтобы разглядеть все сердца, что бьются во тьме. Он подвел итог и вынес приговор: «Ужас!» Он был замечательным человеком. В конце концов, в этом слове была какая-то вера, прямота, убежденность; в шепоте слышалась вибрирующая нотка возмущения, странное слияние ненависти и желания – это слово отражало странный лик правды. И лучше всего запомнил я не те минуты мои, которые казались мне последними, – не серое бесформенное пространство, заполненное физической болью и равнодушным презрением к эфемерности всего, даже самой боли. Нет! Его последние минуты я, казалось, пережил и запомнил. Правда, он сделал последний шаг, он шагнул за грань, тогда как мне разрешено было отступить. Быть может, в этом-то и заключается разница; быть может, вся мудрость, вся правда, вся искренность сжаты в этом одном неуловимом моменте, когда мы переступаем порог смерти. Быть может! Мне хочется думать, что, подведя итог, я не брошу слова равнодушного презрения. Уж лучше его крик – гораздо лучше. В нем было утверждение, моральная победа, оплаченная бесчисленными поражениями, гнусными ужасами и гнусным удовлетворением. Но это победа! Вот почему я остался верным Куртцу до конца – и даже после его смерти, когда много времени спустя я снова услышал – не его голос, но эхо его великолепного красноречия, отраженного душой, такой же прозрачной и чистой, как кристалл.

Нет, меня они не похоронили, но был период, о котором я вспоминаю смутно, с содроганием, словно о пребывании в каком-то непостижимом мире, где нет ни надежд, ни желаний. Снова попал я в город, похожий на гроб поваленный, и с досадой смотрел на людей, которые суетились, чтобы выманить друг у друга денег, сожрать свою дрянную пищу, влить в себя скверное пиво, а ночью видеть бессмысленные и нелепые сны. Эти люди вторгались в мои мысли. Их знание жизни казалось мне досадным притворством, ибо я был уверен, что они не могут знать тех фактов, какие известны мне. Их осанка – осанка заурядных людей, уверенных в полной безопасности и занимающихся своим делом, – оскорбляла меня, как наглое чванство

глупца перед лицом опасности, недоступной его пониманию. У меня не было особого желания их просвещать, но я с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться при виде их глупо-самоуверенных лиц.

Пожалуй, в то время я был не совсем здоров. Я бродил по улицам – мне нужно было уладить кое-какие дела – и горько усмехался, встречая почтенных людей. Допускаю, что я вел себя непозволительно, но в те дни моя температура редко бывала нормальной. Все усилия славной моей тетушки «восстановить мои силы» не достигали своей цели. Не силы мои нуждались в восстановлении, но мозг жаждал успокоения. Я хранил пачку бумаг, врученных мне Куртцем, и не знал, что с ними делать. Его мать недавно умерла; мне сказали, что ухаживала за ней его «нареченная». Однажды заглянул ко мне гладко выбритый человек, державший себя официально и носивший очки в золотой оправе. Сначала окольным путем, а затем с вкрадчивой настойчивостью он стал расспрашивать о том, что ему угодно было называть «документами». Я не удивился, ибо успел дважды поссориться из-за этого с начальником. Я отказался дать ему хотя бы один листок: так же я держал себя и с этим человеком в очках. Наконец он стал мрачно угрожать и с жаром доказывать, что фирма имеет право требовать все касающееся ее «территории». По его словам, «мистер Куртц должен был обладать обширными и своеобразными сведениями о неисследованных областях, ибо этот выдающийся и одаренный человек попал в исключительную обстановку, а потому…»

Я уверил его, что мистер Куртц – какими бы сведениями он ни обладал – проблем коммерческих или административных не касался. Тогда он заговорил об интересе научном: «Потеря будет велика, если…» и т. д. и т. д. Я ему предложил статью «Искоренение обычаев дикарей», оторвав предварительно постскриптум. Он жадно ее схватил, но потом презрительно фыркнул.

– Это не то, на что мы имели право надеяться, – заметил он.

– Не надейтесь, – сказал я. – У меня остаются только его частные письма.

Он удалился, пригрозив судебным преследованием, и больше я его не видел. Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Куртца: ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Куртц был великим музыкантом. «Он мог бы иметь колоссальный успех», – сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. Его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Куртца – если была у него таковая – и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я его считал художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его (который нюхал табак в продолжение нашей беседы) не мог мне сказать, кем он, собственно, был. Куртц был универсальным гением… Я согласился со стариком, который шумно высморкался в большой бумажный платок и, взволнованный, удалился, унося с собой какие-то не имеющие значения семейные письма.

Наконец посетил меня журналист, горевший желанием узнать о судьбе своего «дорогого коллеги». Этот посетитель сообщил, что Куртцу следовало бы избрать политическую карьеру. У журналиста были косматые прямые брови, торчавшие, как щетина, коротко остриженные волосы и монокль на широкой ленте. Разговорившись, он заявил, что Куртц, по его мнению, писать не умел, но «как этот человек говорил! Он мог наэлектризовать толпу. У него была вера – понимаете? Вера. Он мог себя убедить в чем угодно… в чем угодно. Из него вышел бы блестящий лидер какой-нибудь крайней партии».

– Какой партии? – спросил я.

– Любой! – ответил тот. – Он… он был… экстремист. Не так ли?

Я согласился. Он полюбопытствовал, не известно ли мне, что побудило его поехать туда.

– Известно, – сказал я и вручил ему знаменитую статью для опубликования, если он найдет ее пригодной.

Он торопливо ее просмотрел, бормоча себе что-то под нос, затем произнес:

– Пригодится, – и ушел со своей добычей.

Итак, я остался со связкой писем и портретом девушки. Она была красива… Я хочу сказать, что выражение ее лица казалось мне прекрасным. Я знаю, что даже солнечный свет может лгать, но никакое освещение и никакие позы не могли придать ее лицу такое выражение, внушавшее полное доверие. Казалось, она умела слушать с открытой душой, не питая никаких подозрений, не думая о себе. Я решил лично вернуть ей ее карточку и письма. Любопытство? Да; и, быть может, еще какое-то чувство. Все, что принадлежало Куртцу, от меня ускользало: его душа, его тело, его станция, его планы, его слоновая кость, его карьера. Осталось только воспоминание о нем и его «нареченная»; я хотел и это отдать прошлому, хотел уступить все, что у меня от него осталось, забвению – последнему слову общей нашей судьбы. Я не защищаюсь: тогда я неясно себе представлял, чего именно я хочу. Быть может, то был порыв бессознательной верности… или завершение одной из тех иронических неизбежностей, которые таятся в человеческом бытии. Не знаю. Не могу сказать. Но я отправился к ней.

Я думал, что воспоминание о нем, подобно воспоминаниям о других умерших, которые накапливаются в жизни каждого человека, – отпечаток в нашем мозгу уходящих от нас теней. Но перед высокой и массивной дверью, между высокими домами, на улице, такой же тихой и нарядной, как аллея кладбища, мне предстало видение: я увидел его на носилках; он прожорливо открывал рот, словно хотел проглотить всю землю и всех людей. Он жил, жил так, как и раньше, – ненасытный призрак, стремившийся к блестящей видимости и страшной реальности; призрак более темный, чем тени ночи, и благородно задрапированный в складки великолепного красноречия. Видение, казалось, вошло в дом вместе со мной: носилки, призраки носильщиков, дикая толпа послушных почитателей, мрак лесов, блеск реки, бой барабана, ровный и приглушенный, как биение сердца – сердца тьмы-победительницы. То был момент триумфа для дикой глуши, мстительный ее набег, которому, казалось мне, я один должен был противостоять, чтобы спасти другую душу. И воспоминание о том, что я от него слышал там, под сенью терпеливых лесов, когда за моей спиной двигались рогатые тени и пылали костры, – это воспоминание снова всплыло, я вновь услышал отрывистые фразы, зловещие и страшные в своей простоте. Я вспомнил гнусные его мольбы и гнусные угрозы, гигантский размах нечистых его страстей, низость, муку, бурное отчаяние его души. А потом я услышал, как он однажды сказал сдержанно и вяло:

– Вся эта слоновая кость, в сущности, принадлежит мне. Фирма за нее не платила. Я сам ее собрал, рискуя жизнью. Все-таки я боюсь, как бы они не предъявили права на нее… Гм… Положение затруднительное. Как вы думаете, что мне делать? Бороться, а? Я хочу только справедливости… – Он хотел только справедливости.

Во втором этаже я позвонил у двери из красного дерева, а пока я ждал, он, казалось, смотрел на меня с блестящей филенки, смотрел своим глубоким взглядом, обнимающим, осуждающим, проклинающим вселенную. Я снова слышал шепот: «Ужас! Ужас!»

Спускались сумерки. Мне пришлось подождать в высокой гостиной, где три узких окна поднимались от пола к потолку, словно светящиеся и задрапированные колонны. Блестели изогнутые и позолоченные ножки и спинки мебели. Холодным и монументальным казался высокий белый мраморный камин. В углу стоял большой рояль; отблески пробегали по темной его поверхности, словно по мрачному полированному саркофагу. Высокая дверь открылась и снова закрылась. Я встал.

В сумеречном свете она шла ко мне вся в черном, с бледным лицом. Она была в трауре. Больше года прошло с тех пор как он умер, больше года с тех пор как она получила известие. Казалось, она будет помнить и оплакивать вечно. Она взяла обе мои руки в свои и прошептала:

– Я слышала, что вы приехали.

Я заметил, что она не очень молода, – во всяком случае, уже не молоденькая девушка. Она созрела для верности, страдания и веры. В комнате, казалось, потемнело, словно грустный свет пасмурного вечера сосредоточился на ее лице. Эти белокурые волосы, это бледное лицо и чистый лоб были как бы окружены пепельным ореолом. Темные глаза смотрели на меня. Взгляд был невинный, глубокий, доверчивый и внушающий доверие. Она держала свою скорбную голову так, словно гордилась этой скорбью, словно хотела сказать: я, я одна умею грустить по нем так, как он того заслуживает. Но когда мы пожимали друг другу руки, на лице ее отразилось такое безнадежное отчаяние, что я понял: она была из тех, кого не назовешь игрушкой времени. Для нее он умер только вчера. И – клянусь небом! – это впечатление было настолько сильным, что и для меня он тоже, казалось, умер только вчера… Нет, сейчас, сию минуту. Я увидел его и ее вместе – его смерть и ее скорбь… Я видел ее скорбь в самый момент его смерти. Понятно ли вам? Я видел их обоих и слышал их обоих. Она сказала прерывающимся голосом:

– Я выжила… – А мой напряженный слух уловил последний его шепот вечного проклятия, слившийся с ее печальным возгласом. С испугом я спросил себя, что я здесь делаю, словно мне приоткрылась жестокая и нелепая тайна, которую человеку не подобает знать. Она предложила мне сесть. Я осторожно положил пакет на маленький столик, а она опустила на него руку.

– Вы его знали хорошо, – прошептала она, помолчав.

– В тех краях близость возникает быстро, – сказал я. – Я его знал так, как только может один человек знать другого.

– И вы им восхищались, – проговорила она. – Узнав его, нельзя им не восхищаться, не правда ли?

– Он был замечательным человеком, – сказал я нетвердым голосом. Видя ее напряженный, умоляющий взгляд, как будто следивший, не сорвутся ли с моих губ еще какие-нибудь слова, я продолжал:

– Нельзя было не…

– Любить его, – закончила она с жаром, а я в ужасе онемел. – О, как это верно! Но подумайте, ведь никто его не знал так хорошо, как знала я! Он мне все доверял. Я его знала лучше, чем кто бы то ни было!

– Вы его знали лучше, чем кто бы то ни было, – повторил я. Быть может, она была права. Но с каждым произнесенным словом в комнате становилось все темнее, и только лоб ее, чистый и белый, казалось, был озарен неугасимым светом веры и любви.

– Вы были его другом, – продолжала она. – Его другом! – повторила она громче. – Да, конечно, раз он дал вам это и прислал вас ко мне. Я чувствую, что могу говорить с вами… и… о! я должна говорить. Я хочу, чтобы вы – человек, слышавший последние его слова, – знали, что я была достойна его… Это не гордость… Да! Я горжусь сознанием, что поняла его лучше, чем кто бы то ни было на земле. Он сам мне это сказал. А с тех пор как умерла его мать, у меня не было никого… никого… кто бы…

Я слушал. Тьма сгущалась. Я даже не уверен был в том, какую связку бумаг он мне дал. Подозреваю, что он хотел мне доверить другие документы, которые начальник после его смерти просматривал при свете лампы. А девушка говорила, облегчая свою скорбь, уверенная в моей симпатии; она говорила так, как пьют жаждущие. Я узнал, что ее родные не одобряли ее помолвки с Куртцем. Он был недостаточно богат или что-то в этом роде. И, право же, я не знаю, не был ли он всю свою жизнь нищим. Он дал мне основание предполагать, что недостаток средств загнал его в те края.

– …разве тот, кто его слышал, мог не стать его другом? – говорила она. – Он привлекал к себе людей, обращаясь к тому, что есть в них хорошего. – Она пристально смотрела на меня. – Это дар великого человека…

Тихому ее голосу, казалось, аккомпанировали те, иные звуки, исполненные тайны, отчаяния и скорби, какие довелось мне слышать: журчание реки, шелест деревьев, раскачивае-

мых ветром, рокот толпы, слабый отзвук непонятных слов, шепот человека, говорящего из-за порога вечной тьмы.

– Но вы его слышали! Вы знаете! – воскликнула она.

– Да, знаю, – сказал я чуть ли не с отчаянием в сердце, но склоняя голову перед ее верой, перед великой и спасительной иллюзией, светившей неземным светом во тьме, в торжествующей тьме, от которой я не мог ее защитить, от которой я не мог защитить даже себя самого.

– Какая утрата для меня… для нас! – великодушно поправилась она и шепотом добавила: – Для мира.

В угасающем свете я видел, как блестели ее глаза, полные слез, – слез, которым не суждено было пролиться.

– Я была очень счастлива и очень горда, – продолжала она. – Слишком счастлива. Это продолжалось недолго. А теперь я несчастна… на всю жизнь.

Она встала; ее белокурые волосы, отсвечивая золотом, казалось, ловили последние проблески света. Я тоже встал.

– И от всего этого, – продолжала она с тоской, – от всех его обещаний, его величия, его великодушной души и благородного сердца не осталось ничего… ничего, кроме воспоминания. Вы и я…

– Мы всегда будем его помнить, – поторопился я сказать.

– Нет! – воскликнула она. – Немыслимо, чтобы все это погибло, чтобы от жизни его, принесенной в жертву, не осталось ничего, кроме скорби. Вы знаете, какие грандиозные у него были планы. Я тоже о них знала. Быть может, я не могла понять, но о них знали и другие люди. Что-то должно остаться. Его слова, во всяком случае, не умрут.

– Его слова останутся, – сказал я.

– И его пример, – прошептала она словно про себя. – Люди смотрели на него снизу вверх… доброта его светилась в каждом поступке. Его пример…

– Правильно, – сказал я, – и его пример. Да, его пример. Об этом я позабыл.

– Но я помню. Я не могу, не могу поверить… Не могу поверить, что никогда больше его не увижу… что никто его больше не увидит никогда, никогда, никогда…

Она простерла руки, словно вслед отступающему человеку; бледные руки с переплетенными пальцами виднелись на фоне угасающей узкой полосы окна. Никогда его не увидит! В ту минуту я его видел достаточно ясно. До конца жизни я буду видеть этот красноречивый призрак, а также и ее – трагическую тень, походившую в этой позе на другую, тоже трагическую женщину, которая была увешана бессильными амулетами и простирала обнаженные смуглые руки к сверкающему адскому потоку, к потоку тьмы. Вдруг она сказала очень тихо:

– Он умер так же, как и жил.

Тупая злоба шевельнулась во мне.

– Его конец был во всех отношениях достоин его жизни, – сказал я.

– А меня с ним не было, – прошептала она.

Злоба уступила место бесконечной жалости.

– Все, что можно было сделать… – пробормотал я.

– Да, но я в него верила больше, чем кто бы то ни было на земле… больше, чем его родная мать, больше, чем… он сам. Я была ему нужна! Я! Я бы сберегла каждое его слово, каждый вздох, каждый жест, каждый его взгляд.

Я почувствовал, как холодная рука сжала мне сердце.

– Не надо! – сказал я сдавленным голосом.

– Простите меня. Я так долго тосковала молча… молча… Вы были с ним… до конца? Я думаю о его одиночестве. Подле него не было никого, кто бы мог его понять так, как поняла бы я. Быть может, никто не слышал…

– Я был с ним до конца, – сказал я дрожащим голосом. – Я слышал его последние слова… – И в испуге я умолк.

– Повторите, – прошептала она надрывающим сердце голосом. – Мне нужно… мне нужно что-нибудь… что-нибудь… чтобы с этим жить.

Я чуть было не крикнул: «Да разве вы не слышите?» Сумерки вокруг нас повторяли это слово настойчивым шепотом – шепотом, угрожающим, как первое дыхание надвигающегося шквала: «Ужас! Ужас!»

– Последнее слово… чтобы жить с ним, – настаивала она. – Поймите, я его любила, любила, любила!

Я взял себя в руки и медленно проговорил:

– Последнее слово, какое он произнес, было ваше имя.

Я услышал тихий вздох, а потом сердце мое замерло, перестало биться, когда раздался ликующий и страшный крик, крик великого торжества и бесконечной боли.

– Я это знала… была уверена!..

Она знала. Она была уверена. Я слышал, как она плакала. Она закрыла лицо руками. Казалось мне, что дом рухнет раньше, чем я успею выбежать, казалось, что небеса обрушатся на мою голову. Но ничего не случилось. Небеса из-за таких пустяков не рушатся. Интересно, обрушились бы они, если бы я был справедлив и отдал должное Куртцу? Разве не говорил он, что требует только справедливости? Но я не мог. Не мог ей сказать. Тогда стало бы слишком темно… слишком темно…

Марлоу умолк. Неясный и молчаливый, он сидел в стороне в позе Будды, погруженного в созерцание. Никто не шелохнулся.

– Мы прозевали начало отлива, – неожиданно сказал директор.

Я поднял голову. Черная гряда облаков пересекала устье, и спокойный поток, ведущий словно к концу земли, струился мрачный под облачным небом – казалось, он уводил в сердце необъятной тьмы.

Тайфун

I

Лицо Мак-Вира, капитана парохода «Нянь-Шань», по закону материального отражения, точно воплощало его духовный облик; его нельзя было назвать ни энергичным, ни глупым; ярких характерных черт в нем не было – самое обыкновенное невыразительное и спокойное лицо.

Пожалуй, иногда в нем можно было подметить какую-то застенчивость: в деловых конторах на берегу он обычно сидел с опущенными глазами, загорелый и улыбающийся. Когда же он поднимал глаза, видно было, что они у него голубые, а взгляд прямой. Волосы, белокурые и очень тонкие, словно каемкой пушистого шелка обхватывали лысый купол его черепа от виска до виска. Усы, огненно-рыжие, походили на медную проволоку, коротко подстриженную над верхней губой; как бы тщательно он ни брился, огненно-металлические отблески пробегали по его щекам всякий раз, как он поворачивал голову. Роста он был, пожалуй, ниже среднего, слегка сутуловатый, и такой коренастый, что, казалось, костюм всегда чуточку его стеснял. Похоже было на то, что он не мог постигнуть требования различных широт, а потому и носил всегда коричневый котелок, коричневый костюм и неуклюжие черные башмаки. Такое одеяние, предназначавшееся для гавани, придавало этому плотному человеку вид натянутый и нелепо франтоватый. На жилете его красовалась тоненькая серебряная цепочка, а сходя на берег, он всегда сжимал своим сильным волосатым кулаком ручку элегантного зонтика; этот зонтик был самого высшего качества, но обычно не бывал свернут. Молодой Джакс, старший помощник, провожая своего капитана до сходней, часто с величайшей любезностью говорил: «Разрешите мне, сэр» – и, почтительно завладев зонтом, поднимал его, встряхивая складки, в одну секунду аккуратно свертывал и возвращал капитану; все это он проделывал с такой торжественно-серьезной физиономией, что мистер Соломон Раут, старший механик, куривший у люка свою утреннюю сигару, отворачивался, чтобы скрыть улыбку. «О! Да! Зонт… Спасибо, Джакс, спасибо», – благодарно бормотал капитан Мак-Вир, не поднимая глаз.

Воображения у него было ровно столько, сколько требовалось на каждый текущий день, и потому он был спокойно уверен в себе. По этой же причине в нем не было ни капли тщеславия. Только наделенное воображением начальство бывает обидчиво, высокомерно, и ему трудно угодить, но каждое судно, каким командовал капитан Мак-Вир, было плавучей обителью мира и гармонии. По правде сказать, он так же неспособен был отдаться полету фантазии, как не может часовщик собрать хронометр, пользуясь вместо необходимых инструментов двухфунтовым молотком и пилой. Однако даже пресная жизнь людей, всецело преданных голым фактам – и только фактам, – имеет свою таинственную сторону. Так, например, нельзя понять, что побудило капитана Мак-Вира, примерного сына мелкого торговца колониальными товарами в Бельфасте, уйти в море. А ведь именно это он и сделал, когда ему исполнилось пятнадцать лет. Размышляя о подобном факте, вы невольно представляете себе гигантскую властную и невидимую руку, просунувшуюся в земной муравейник, хватающую людей за плечи, сталкивающую их головами, влекущую бессознательные толпы на неведомые пути, к непостижимым целям.

Отец, в сущности, так и не простил ему такого непослушания и глупости. «Мы обошлись бы и без него, – говаривал он впоследствии, – но у нас торговое дело. А ведь он – единственный сын!» Мать долго плакала после его исчезновения. Так как ему не пришло в голову, уходя, оставить записку, его считали умершим в течение восьми месяцев, пока не пришло его первое письмо из Талькагуано. Письмо было короткое и заключало, между прочим, следующее сообщение: «Во время плавания погода стояла очень хорошая». Но, очевидно, автор письма прида-

вал значение лишь одному факту: в самый день написания письма капитан принял его в судовую команду простым матросом. «Потому что я умею работать», – объяснил он. Мать снова горько заплакала, а отец выразил свои чувства замечанием: «Том – осел». Отец был человек тучный и обладал даром посмеиваться исподтишка; этим он до конца своей жизни и донимал сына, к которому относился с жалостью, словно считал его дурачком.

Своих домашних Мак-Вир, в силу необходимости, навещал редко; в течение многих лет он посылал родителям письма, в которых уведомлял их о своих успехах и странствиях по лицу земли. В этих посланиях встречались такие фразы: «Здесь стоит сильная жара». Или: «В первый день Рождества в четыре часа пополудни мы повстречались с айсбергами». И старики познакомились с названиями многих кораблей; с именами шкиперов, командовавших ими; с именами шотландских и английских судовладельцев; с названиями морей, океанов, проливов и мысов; с чужеземными названиями портов, откуда вывозят лес, хлопок или рис; с названиями островов; с именем молодой жены их сына. Ее звали Люси. Ему и в голову не пришло упомянуть, считает ли он это имя красивым. А потом старики умерли.

Великий день свадьбы Мак-Вира наступил сейчас же вслед за великим днем, когда он получил первое свое командование.

Все эти события произошли за много лет до того утра, когда, стоя в штурманской рубке парохода «Нянь-Шань», он созерцал падение барометра, которому не имел причины не доверять. Падение – принимая во внимание совершенство инструмента, время года и положение судна на земном шаре – носило характер зловеще-пророческий; но красная физиономия капитана не выражала ни малейшего волнения. Зловещие предсказания не имели для него значения, и он неспособен был понять смысл пророчества, пока последнее не исполнилось под самым его носом. «Барометр упал, что и говорить… – подумал он. – Должно быть, поблизости разыгралась на редкость скверная буря».

«Нянь-Шань» шел с юга в порт Фучжоу с кое-каким грузом в нижнем трюме и двумястами китайских кули, возвращавшихся в свои родные деревни в провинции Фуцзянь после нескольких лет работы в различных тропических колониях. Утро было ясное; маслянистое, тусклое море волновалось; а на небе виднелось странное белое туманное пятно, похожее на нимб вокруг солнца. Весь бак был усеян китайцами; мелькали темные одежды, желтые лица, косы; блестели обнаженные плечи, потому что ветра не было и стояла томительная жара. Кули валялись на палубе, болтали, курили или перевешивались за борт; иные, втаскивая на палубу воду, обливали друг друга; кое-кто спал на люках; небольшие группы из пяти-шести человек сидели на корточках вокруг железных подносов с тарелками риса и крохотными чашечками. Каждый кули вез с собой все свое имущество – деревянный сундук с висячим замком и с медной обшивкой на углах; здесь были сложены плоды его трудов: кое-какая праздничная одежда; палочки ароматического вещества; быть может, немного опиума; какой-нибудь хлам, почти ничего не стоящий; маленькая кучка серебряных долларов, заработанная на угольных шаландах, выигранная в игорных домах или нажитая мелкой торговлей, вырытая из земли, в поте лица добытая на рудниках, на железных дорогах, в смертоносных джунглях, под тяжестью непосильной ноши, собранная терпеливо, заботливо охраняемая, любимая неистово.

Часов в десять от Формозского пролива пошли поперечные волны, не очень тревожа пассажиров китайцев, так как «Нянь-Шань», со своим плоским дном и широким бимсом, пользовался репутацией парохода исключительно устойчивого. Мистер Джакс, расчувствовавшись на суше, громогласно заявлял, что «старушка – красавица и умница». Капитану Мак-Виру никогда бы и в голову не пришло выражать свое благосклонное мнение о корабле так громко и так оригинально.

Судно, несомненно, было хорошее и отнюдь не старое. Его построили в Думбартоне меньше трех лет назад, по заказу торговой фирмы в Сиаме – «Сигг и Сын». Когда судно было

спущено на воду, совершенно законченное и готовое приступить к работе, строители созерцали его с гордостью.

– Сигг просил нас раздобыть надежного шкипера, – заметил один из компаньонов.

А другой, подумав секунду, сказал:

– Кажется, Мак-Вир сейчас на суше.

– В самом деле? В таком случае, телеграфируйте ему немедленно. Это самый подходящий человек, – заявил, ни на минуту не задумываясь, старший компаньон.

На следующее утро перед ними предстал невозмутимый Мак-Вир, прибывший из Лондона с ночным экспрессом, после прощания с женой, весьма сдержанного, несмотря на неожиданный отъезд. Ее родители некогда знавали лучшие дни.

– Осмотрим вместе судно, капитан, – сказал старший компаньон.

И трое мужчин отправились обследовать «Нянь-Шань» с носа до кормы и с кильсона до клотов двух его приземистых мачт.

Капитан Мак-Вир начал с того, что повесил свой пиджак на ручку парового брашпиля, являвшегося последним словом техники.

– Дядя дал о вас самый благоприятный отзыв: со вчерашней почтой он отправил письмо нашим добрым друзьям, мистерам Сигг, и, несомненно, они и в дальнейшем оставят за вами командование, – заметил младший компаньон. – Когда вы будете плавать у берегов Китая, капитан, вы сможете гордиться тем, что командуете самым послушным судном, – прибавил он.

– Да? Благодарю вас, – промямлил Мак-Вир.

На него такая перспектива производила не большее впечатление, чем красота широкого ландшафта на подслеповатого туриста. Затем глаза его остановились на секунду на замке двери, ведущей в каюту; сразу заинтересовавшись, он приблизился к двери и энергично задергал ручку, тихо и очень серьезно приговаривая:

– Никому не следует теперь доверять. Замок новехонький, а никуда не годится. Заедает. Видите? Видите?

Как только компаньоны вернулись к себе в контору, племянник с легким презреньем заметил:

– Вы расхваливали этого парня мистерам Сигг. Что вы в нем нашли?

– Согласен, что он нимало не похож на твоего воображаемого шкипера. Должно быть, ты это хотел сказать? – коротко отрезал старший компаньон. – Где десятник тех столяров, которые работали на «Нянь-Шане»?.. Входите, Бейтс. Как это вы недосмотрели? В двери каюты неисправный замок. Капитан заметил, как только взглянул на него. Распорядитесь, чтобы немедленно заменили другим. Знаете, в мелочах, Бейтс… в мелочах…

Замок заменили, и через несколько дней «Нянь-Шань» отошел на Восток. Мак-Вир не сделал больше ни одного замечания о судне, и никто не слыхал от него ни единого слова, указывающего на то, что он гордится своим судном, благодарен за назначение или радуется видам на будущее.

Мак-Вира нельзя было назвать ни словоохотливым, ни молчаливым, но для разговоров он находил очень мало поводов. Эти поводы, конечно, доставляло исполнение служебных обязанностей: приказы, распоряжения и так далее; но к прошлому, раз покончив с ним, он уже не возвращался; будущее для него еще не существовало; а повседневные события комментариев не требовали, ибо факты могли говорить сами за себя с ошеломляющей точностью.

Старый мистер Сигг любил людей немногословных, таких, с которыми «вы можете быть спокойны: им не придет в голову нарушать полученные инструкции». Мак-Вир этому требованию удовлетворял, а потому и остался капитаном «Нянь-Шаня» и занялся навигацией в китайских морях. Судно вышло под английским флагом, но спустя некоторое время представители фирмы Сигг сочли более целесообразным переменить этот флаг на сиамский.

Узнав о предполагавшемся поднятии сиамского флага, Джакс заволновался, словно ему нанесли личное оскорбление. Он бродил, бормоча что-то себе под нос и время от времени презрительно посмеиваясь.

– Вы только представьте себе нелепого слона из Ноева ковчега на флаге нашего судна! – сказал он однажды, просовывая голову в машинное отделение. – Черт бы меня побрал, если я могу это вынести! Я откажусь от места. А вы что скажете, мистер Раут?

Старший механик только откашлялся с видом человека, знающего цену хорошему месту.

В первое утро, когда новый флаг взвился над кормой «Нянь-Шаня», Джакс стоял на мостике и с горечью созерцал его. Некоторое время он боролся со своими чувствами, а потом заметил:

– Чудно плавать под таким флагом, сэр.

– В чем дело? Что-нибудь неладно с флагом? – осведомился капитан Мак-Вир. – А мне кажется, все в порядке.

И он подошел к поручням мостика, чтобы получше разглядеть флаг.

– Ну а мне он кажется странным! – с отчаянием выпалил Джакс и убежал с мостика.

Такое поведение удивило капитана Мак-Вира. Немного погодя он спокойно прошел в штурманскую рубку и раскрыл международный код сигналов на той странице, где стройными пестрыми рядами вытянулись флаги всех наций. Он пробежал по ним пальцем, а дойдя до сиамского, очень внимательно всмотрелся в красное поле и белого слона. Ничего не могло быть проще, но для большей наглядности он вынес книгу на мостик, чтобы сравнить цветной рисунок с подлинным флагом на флагштоке. Когда Джакс, исполнявший в тот день свои обязанности с видом сдержанно-свирепым, очутился случайно на мостике, капитан заметил:

– Флаг такой, каким ему полагается быть.

– Вот как! – пробормотал Джакс, опускаясь на колени перед палубным инструментальным ящиком и злобно извлекая оттуда запасной лотлинь.

– Да. Я проверил по книге. В длину вдвое больше, чем в ширину, а слон как раз посредине. Ведь эти береговые должны знать, как делать местный флаг. Уж это само собой разумеется. Вы ошиблись, Джакс…

– Да, сэр… – начал Джакс, возбужденно вскакивая, – все, что я могу сказать, это…

Дрожащими руками он ощупывал бухту линя.

– Ничего, ничего! – успокоил его капитан Мак-Вир, тяжело опускаясь на маленький брезентовый складной стул, весьма им любимый. – Вам нужно только следить за тем, чтобы не подняли слона вверх ногами, пока еще не привыкли к нему…

Джакс швырнул новый лотлинь на бак, громко крикнул:

– Боцман, сюда! Не забудьте его вымочить! – Затем с величайшей решимостью повернулся к своему капитану.

Но капитан Мак-Вир, удобно положив локти на поручни мостика, продолжал:

– …потому что, полагаю, это было бы понято как сигнал бедствия. Как вы думаете? Я считаю, что с этим слоном нужно обращаться так же, как и с английским флагом…

– В самом деле?! – заревел Джакс так громко, что все бывшие на палубе поглядели на мостик. Потом он вздохнул и с неожиданной покорностью кротко сказал: – Да, что и говорить, зрелище было бы прискорбное.

Позже он конфиденциально обратился к старшему механику:

– Послушайте-ка, я вам расскажу о последней выходке нашего старика!

Мистер Соломон Раут (большей частью именуемый «Длинный Сол», «Старый Сол» или «Отец Раут») почти всегда оказывался выше всех ростом на борту любого корабля, где он служил; поэтому он приобрел привычку наклоняться не спеша, со снисходительным видом. Волосы у него были редкие, рыжеватые, щеки плоские и бледные, руки костлявые, длинные и тоже бледные, словно он всю свою жизнь не видел солнца.

Он улыбнулся с высоты своего роста Джаксу, продолжая курить и спокойно глядеть по сторонам с видом добродушного дядюшки, снисходительно выслушивающего болтовню возбужденного школьника. Рассказ немало его позабавил, но он только спросил бесстрастно:

– И вы отказались от своей должности?

– Нет! – крикнул обескураженный Джакс, устало повышая голос, чтобы перекричать хриплый скрежет лебедок «Нянь-Шаня».

Работали все лебедки, подхватывая стропы с грузом и поднимая их высоко, до конца длинных подъемных стрел, – казалось, для того только, чтобы затем беззаботно дать им сорваться. Грузовые цепи стонали в ручных лебедках, с бряцаньем ударялись о края люков, звенели за бортом; все судно содрогалось, а длинные серые бока его дымились в облаках пара.

– Нет, – крикнул Джакс, – не отказался! Что толку! С таким же успехом я мог преподнести свою отставку вот этой переборке! Не думаю, чтобы такому человеку можно было хоть что-нибудь втолковать. Он просто ошеломляет меня.

В этот момент капитан Мак-Вир, вернувшийся с берега, появился на палубе с зонтом в руке, в сопровождении печального и сдержанного китайца, следовавшего за ним по пятам также с зонтом и в шелковых туфлях на бумажной подошве.

Капитан «Нянь-Шаня», говоря едва слышно и по обыкновению глядя на свои сапоги, сообщил, что в этот рейс необходимо будет заехать в Фучжоу. Затем он высказал пожелание, чтобы мистер Раут позаботился развести пары завтра, ровно в час пополудни. Он сдвинул шляпу на затылок, чтобы вытереть лоб, и при этом заметил, что терпеть не может сходить на берег. Мистер Раут, возвышавшийся над ним, не удостоил произнести ни слова и сумрачно курил, упершись правым локтем в ладонь левой руки. Далее тем же пониженным голосом было отдано распоряжение Джаксу очистить межпалубный трюм от груза. Туда нужно будет поместить двести человек кули. «Компания Бен-Хин» отправляет эту партию на родину. Провиант – двадцать пять мешков рису – будет доставлен сейчас на сампане. Все кули прослужили семь лет, говорил капитан Мак-Вир, и у каждого есть сундук из камфарного дерева. Нужно поставить на работу плотника: пусть прибьет трехдюймовые планки вдоль нижней палубы на корме и на носу, чтобы эти ящики не сдвинулись с места во время плавания. Джаксу немедленно следует заняться этим делом. «Вы слышите, Джакс?..» Этот китаец поедет до Фучжоу, будет переводчиком. Он – клерк «Компании Бен-Хин» и хотел бы осмотреть помещение, предназначенное для кули. Пусть Джакс проводит его на нос… «Вы слышите, Джакс?»

Джакс в соответствующих местах вежливо, без всякого энтузиазма вставлял: «Да, сэр», потом бросил китайцу: «Иди, Джон. Твой смотреть», – и тот немедленно последовал за ним по пятам.

– Твой хочет смотреть, твой смотрит, – сказал Джакс, плохо усваивавший иностранные языки и сейчас безжалостно коверкавший английский жаргон. Он показал на открытый люк: – Каждый кули свой место спать. Понял?

Джакс имел вид суровый, но не враждебный. Китаец, грустный и безмолвный, заглянул в темный люк; казалось, он стоит у края зияющей могилы.

– Дождь нет там, внизу, – понял? – указывал Джакс. – Хорошая погода – кули идет наверх, – продолжал он, воодушевляясь. – Делает так: п-у-у-у-у! – Он выпятил грудь и раздул щеки. – Понял, Джон? Дышать свежий воздух. Хорошо. А? Кули мыть свои штаны, кушать наверху. Понял, Джон?

Он пожевал губами и выразительно покрутил руками, изображая стирку белья. Китаец, скрывая под кротким, меланхолическим видом свое недоверие к этой пантомиме, переводил миндалевидные глаза с Джакса на люк и обратно.

– Осень холосо, – произнес он безутешным шепотом и плавно понесся по палубе, ловко избегая попадавшиеся на пути препятствия. Наконец он исчез, низко пригнувшись под стро-

пом с десятью рогожными мешками, наполненными каким-то дорогим товаром и издававшими отвратительный запах.

Тем временем капитан Мак-Вир поднялся на мостик и вошел в штурманскую рубку, где его ждало письмо, начатое два дня назад. Эти длинные письма начинались словами: «Моя дорогая жена», и стюард, отрываясь от мытья полов и стирания пыли с хронометров, то и дело урывал минутку, чтобы заглянуть в них. Они интересовали его значительно больше, чем могли бы заинтересовать женщину, для которой предназначались; объяснялось это тем, что в письмах с мельчайшими подробностями изображались все события плавания «Нянь-Шаня».

Капитан, верный фактам – только они и доходили до его сознания, – добросовестно трудился, излагая их на многих страницах. Дом с красивым портиком, куда адресовались эти письма, находился в северном пригороде; перед окнами был крохотный садик, а в парадной двери красовалось цветное стекло. За этот дом он платил сорок пять фунтов в год и не считал арендную плату слишком высокой, ибо миссис Мак-Вир – претенциозная особа с тощей шеей и презрительной миной – считалась леди и была признана соседями за таковую. У нее была одна тайна: она смертельно боялась, как бы ее супруг не вернулся с намерением навсегда остаться дома. Под той же крышей проживали еще дочь Лидия и сын Том. Эти двое были едва знакомы с отцом. Они знали его как редкого гостя, привилегия которого – курить по вечерам в столовой трубку и спать в доме. Долговязая девочка, пожалуй, стыдилась его, а мальчик был к нему откровенно равнодушен и проявлял это чувство с восхитительной прямотой, свойственной его возрасту.

А капитан Мак-Вир писал домой с берегов Китая двенадцать раз в год и выражал странное желание, чтобы о нем «напоминали детям»; подписывался он всегда – «твой любящий супруг» – с таким спокойствием, словно эти слишком привычные слова совершенно стерлись от употребления и потеряли всякий смысл.

Китайские моря – Северное и Южное – узкие моря. Они полны повседневных красноречивых фактов: острова, песчаные отмели, рифы, быстрые и изменчивые течения говорят сами за себя, и всякому моряку их язык кажется понятным и точным. На капитана Мак-Вира, знающего цену реальным фактам, их речь возымела такое действие, что он забросил свою каюту внизу и целые дни проводил на мостике судна, часто обедал наверху, а спал в штурманской рубке. Здесь же сочинял он и свои письма домой. В каждом письме, без исключения, встречалась фраза: «В этот рейс погода стояла очень хорошая», или подобное же сообщение в несколько иной форме. И эта удивительно настойчивая фраза отличалась тою же безупречной точностью, как и все остальное письмо.

Мистер Раут также писал письма, только никто на борту не знал, каким многословным он мог быть с пером в руках, ибо у старшего механика хватало смекалки запирать свой письменный стол. Жена наслаждалась его слогом. Были они бездетны, и миссис Раут, крупная веселая сорокалетняя женщина с пышным бюстом, проживала в маленьком коттедже близ Теддингтона вместе с беззубой и почтенной матерью мистера Раута. С загоревшимися глазами она пробегала свою корреспонденцию за завтраком, а интересные места радостно выкрикивала во весь голос, чтобы ее услышала глухая старуха. Вступлением к каждой выдержке служил предупреждающий крик: «Соломон говорит!» Она имела обыкновение выпаливать изречения Соломона также и чужим людям, приводя их в изумление незнакомым текстом и шутливым тоном этих цитат. Однажды в коттедж явился с визитом новый викарий. Миссис Раут улучила минутку сообщить ему:

– Как говорит Соломон: «Механики, отправляясь в море, созерцают чудеса морской жизни…» – но, заметив изменившееся лицо гостя, остановилась и вытаращила глаза.

– Соломон… О!.. Миссис Раут, – заикаясь, выговорил молодой человек и сильно покраснел, – должен сказать, я не…

– Это мой муж! – закричала она и откинулась на спинку стула.

Поняв, в чем соль, она неудержимо захохотала, прикрыв глаза носовым платком, а викарий силился выдавить улыбку – в жизнерадостных женщинах он ничего не понимал и теперь был глубоко убежден, что видит перед собой безнадежно помешанную. Впоследствии они очень подружились: узнав, что она не хотела быть непочтительной, он стал считать ее весьма достойной особой, а со временем научился стойко выслушивать мудрые изречения Соломона.

– «Для меня, – так цитировала она своего Соломона, – куда лучше, когда шкипер скучнейший болван, а не плут. С дураком можно иметь дело, а плут проворен и увертлив».

Такое легкомысленное обобщение было сделано на основании лишь одного отдельного случая: несомненная честность капитана Мак-Вира отличалась тяжеловесностью глиняной глыбы.

Что же касается мистера Джакса – не способный к обобщениям, неженатый и непомолвленный, он по-иному изливал свои чувства старому приятелю, с которым служил прежде на одном судне; в настоящее время этот приятель исполнял обязанности второго помощника на борту парохода, совершавшего рейсы в Атлантическом океане.

Прежде всего мистер Джакс настаивал на преимуществах плавания в восточных морях, намекая, что это много лучше, чем служить в Атлантике. Он превозносил небо, море, суда и легкую жизнь на Дальнем Востоке. Пароход «Нянь-Шань», по его словам, не имел себе равных.

«У нас нет расшитых золотом мундиров, – писал он, – но зато мы все здесь как братья. Обедаем все за общим столом дружно и живем, как бойцовые петухи… Ребята из черной роты – приличные парни, а старина Сол, старший механик, – молодчина! Мы с ним большие друзья. Что же касается нашего старика, то более тихого шкипера ты не найдешь. Иногда кажется, что у него не хватает ума разобрать, где непорядок. И, однако, это неверно. Он командует уже много лет. Глупостей он не делает и управляет своим судном, никому не надоедая. Мне кажется, у него не хватает мозгов искать развлечения в ссорах. Его слабостями я не пользуюсь. Считаю это недопустимым. За пределами своих обязанностей он как будто понимает не больше половины того, что ему говорят. Над этим мы иногда посмеиваемся; но, в общем, скучно быть с таким человеком во время долгого плавания. Старина Сол уверяет, что капитан не очень разговорчив. Неразговорчив? О боже! Да он никогда не говорит! Как-то я разболтался под его мостиком с одним из механиков – а он, должно быть, нас слышал. Когда я поднялся на мостик принять вахту, он вышел из рубки, осмотрелся по сторонам, глянул на боковые огни, бросил взгляд на компас, скосил глаза на звезды. Это он проделывает регулярно. Потом спросил: «Это вы разговаривали только что у порта?» – «Да, сэр». – «С третьим механиком?» – «Да, сэр». Он отошел на правый борт и сел на маленький складной стул; в течение получаса он не издавал ни единого звука, разве что чихнул один раз. Потом, немного погодя, слышу, он поднимается и идет ко мне на левый борт. «Не могу понять, как это вы находите, о чем говорить, – объявляет он. – Битых два часа! Я вас не браню. Я видел, люди на берегу занимаются этим по целым дням, а вечером сидят, пьют и опять говорят. Должно быть, повторяют все снова и снова одно и то же. Не понимаю». Слыхал ты что-нибудь подобное? А вид у него был такой терпеливый. Мне даже жалко его стало. Но иногда он раздражает. Конечно, никто не стал бы его злить, даже если бы и имело смысл это делать. Но в том-то и штука, что смысла нет. Он так удивительно наивен! Если бы тебе пришло в голову показать ему нос, он совершенно серьезно недоумевал бы, что такое с тобой случилось. Как-то он сказал мне очень простодушно, что ему трудно понять, почему люди всегда поступают так странно. Он слишком туп, чтобы размышлять, и в этом-то вся суть».

Так, изливая свои чувства и отдаваясь полету фантазии, писал мистер Джакс своему приятелю, плавающему на торговых судах Атлантики.

Это было его искреннее мнение. Не имело смысла как-либо воздействовать на такого человека. Если бы на белом свете было много таких людей, жизнь показалась бы Джаксу незанимательной и ничего не стоящей. Не он один придерживался такого мнения о капитане. Даже

море, словно разделяя добродушную снисходительность мистера Джакса, никогда не пугало этого молчаливого человека, редко поднимающего глаза и невинно странствующего по водам с единственной целью добыть пропитание, одежду и кров для трех человек, оставшихся на суше. Конечно, он был знаком с непогодой. Ему случалось и мокнуть, и уставать, терпеть невзгоды, но он тотчас же об этом забывал. Потому-то он и имел основания в своих письмах домой неизменно сообщать о хорошей погоде. Но ни разу еще не довелось ему увидеть непомерную силу и безудержный гнев – гнев, который истощается, но никогда не утихает, гнев и ярость неуемного моря. Он знал о нем подобно тому, как все мы знаем, что существуют на свете преступление и подлость. Он слыхал об этом, как слышит мирный горожанин о битвах, голоде и наводнениях – и, однако, не понимает значения этих событий, хотя, конечно, ему приходилось вмешиваться в уличную драку, оставаться иной раз без обеда или вымокнуть до костей под ливнем. Капитан Мак-Вир плавал по морям так же, как некоторые люди скользят по поверхности жизни, чтобы затем осторожно опуститься в мирную могилу; жизнь до конца остается для них неведомой; им ни разу не открылись ее вероломство, жестокость и ужас. И на суше и на море встречаются такие люди, счастливые… или забытые судьбой и морем.

II

Следя за упорным падением барометра, капитан Мак-Вир думал: «Видно, быть скверной погоде». Мысль его выразилась именно в такой форме. Неблагоприятную погоду он знал по опыту, а определение «скверная» применялось к погоде, причиняющей моряку умеренные неудобства. Сообщи ему какое-нибудь авторитетное лицо, что близится конец мира и грозят катастрофические атмосферные бури, он воспринял бы это сообщение как предсказание скверной погоды – и только, ибо катаклизма он не испытал, а вера не всегда влечет за собой понимание. Мудрость его страны выразилась в акте парламента, и согласно этому акту он должен был ответить на некоторые простые вопросы о вихревых штормах – об ураганах, циклонах, тайфунах, для того чтобы его признали годным принять командование судном; видимо, на эти вопросы он ответил удовлетворительно, раз командовал теперь «Нянь-Шанем» в китайских морях в сезон тайфунов. Но если он и ответил некогда на вопросы, то теперь ничего не помнил. Однако он чувствовал, что жара стоит невыносимая, тяжелая и липкая. Он вышел на мостик, но легче ему не стало. Воздух казался густым. Капитан Мак-Вир разевал рот, как рыба, и чувствовал себя не в своей тарелке.

«Нянь-Шань» оставлял борозду на поверхности моря, которая блестела, как волнистый кусок серого шелка. Бледное и тусклое солнце изливало свинцовый жар и странно мерцающий свет. Китайцы лежали на палубах. Их бескровные, осунувшиеся желтые лица походили на лица больных желтухой. Капитан Мак-Вир отметил двоих, лежавших врастяжку на палубе с закрытыми глазами, – они казались мертвыми; другие трое ссорились на носу; какой-то дюжий парень, полунагой, с широкими плечами, бессильно перевесился через лебедку; другой, сидевший на палубе в девичьей позе, подогнув колени и склонив голову набок, с невероятной медлительностью заплетал косу; даже пальцы его двигались вяло. Дым еле-еле выбивался из трубы, и его не относило в сторону, он растекался зловещим облаком, испускавшим запах серы и осыпавшим сажей палубу.

– Что вы там, черт возьми, делаете, мистер Джакс? – спросил капитан Мак-Вир.

Такая необычная форма обращения – правда, эти слова он не произнес, а промямлил – заставила мистера Джакса подскочить, словно его кольнуло под ребро. Он сидел на низкой скамейке, принесенной на мостик; ноги его обвивала веревка, на коленях лежал кусок парусины, и он энергично работал иглой. С удивлением он поднял глаза; выражение его лица было самое невинное и простодушное.

– Я сшиваю веревкой мешки из новой партии, которую мы заготовили для угля в последнее плавание, – кротко объяснил он. – Нам они понадобятся для следующей погрузки, сэр.

– А что случилось со старыми?

– Износились, сэр.

Капитан Мак-Вир, нерешительно поглядев на своего старшего помощника, высказал мрачное и циничное предположение, что больше половины мешков отправились за борт – «если бы только можно было узнать правду», – и удалился на другой конец мостика. Джакс, раздраженный этой ничем не вызванной атакой, сломал иглу на втором стежке и, бросив работу, вскочил и вполголоса яростно проклял жару.

Винт стучал. Три китайца на корме внезапно прекратили спор, а заплетавший косу обхватил руками колени и уныло уставился в пространство. Бледный солнечный свет бросал слабые, как будто болезненные тени. С каждой секундой волны росли и набегали быстрее, и судно тяжело накренялось в глубоких выбоинах моря.

– Интересно, откуда взялось это проклятое волнение? – громко сказал Джакс, покачнувшись и с трудом удержавшись на ногах.

– С северо-востока, – проворчал с другого конца мостика Мак-Вир, понимавший все в буквальном смысле. – Погода будет скверная. Пойдите посмотрите на барометр.

Джакс вышел из штурманской рубки с изменившейся физиономией: он был задумчив и озабочен. Ухватившись за перила мостика, он стал смотреть вдаль.

Температура в машинном отделении поднялась до ста семнадцати[5] градусов. Из люка и через сетку в переборках котельной вырывался хриплый гул раздраженных голосов и сердитое звяканье и бряцанье металла, словно там, внизу, спорили люди с медными глотками и железными телами. Второй механик ругал кочегаров за то, что они не поддерживают пара. Это был человек с руками кузнеца, и обычно его побаивались; но в тот день кочегары храбро огрызались в ответ и с бешенством отчаяния захлопывали дверцы топки. Затем шум внезапно прекратился, из кочегарки вынырнул второй механик, весь грязный и насквозь мокрый, как трубочист, вылезающий из колодца. Едва высунув голову, он принялся бранить Джакса за то, что вентиляторы кочегарки плохо прилажены; в ответ Джакс умоляюще развел руками, словно желая сказать: «Ветра нет, ничего не поделаешь… сами видите…» Но тот не хотел внимать никаким доводам. Зубы сердито блеснули на грязном лице. Он берет на себя труд отщелкать этих пустоголовых кочегаров там, внизу, сказал он, но, провались все к черту, неужели проклятые моряки думают, что можно поддерживать пар в этих забытых богом котлах одними тумаками? Нет, черт возьми! Нужна еще и тяга. Если это не так, он готов на веки веков превратиться в палубного матроса, у которого вместо головы швабра. А старший механик с полудня вертится у манометра или носится, как помешанный, по машинному отделению. О чем думает Джакс? Чего он торчит здесь, наверху, если не может заставить своих ни на что не годных калек повернуть вентиляторы к ветру?

Отношения между «машинным» и «палубой» «Нянь-Шаня» были, как известно, братские; поэтому Джакс, перевесившись через поручни, сдержанно попросил механика не прикидываться глупым ослом – в другом конце мостика стоит шкипер. Но второй механик возмущенно заявил, что ему нет дела до того, кто стоит в другом конце мостика; а Джакс, моментально перейдя от высокомерного неодобрения к крайнему возбуждению, весьма нелюбезно пригласил его подняться наверх, самому установить проклятые вентиляторы и поймать ветер, какой нужен его ослиной породе. Второй механик взбежал наверх и набросился на вентилятор у левого борта судна с такой энергией, словно хотел его вырвать и швырнуть за борт. На самом же деле он только повернул раструб палубного вентилятора на несколько дюймов, затратив на это столько сил, что казался совсем истощенным. Он прислонился к рулевой рубке, а Джакс подошел к нему.

– О господи! – воскликнул слабым голосом механик. Он поднял мутные глаза к небу, потом поглядел на горизонт; а горизонт, наклонившись под углом в сорок градусов, казалось, висел на откосе и медленно оседал. – Господи! Что же это такое?

Джакс, расставив свои длинные ноги, как ножки циркуля, заговорил с сознанием собственного превосходства:

– На этот раз нас захватит. Барометр падает черт знает как, Гарри. А вы тут стараетесь затеять дурацкую ссору…

Слово «барометр», казалось, воспламенило гнев второго механика. Собравшись с силами, он суровым и сдержанным тоном посоветовал Джаксу запихать себе в глотку этот гнусный инструмент. Кому какое дело до его чертова барометра! Суть в том, что давление пара падает; а у него жизнь стала хуже собачьей, когда кочегары теряют сознание, а старший механик одурел; ему лично наплевать, скоро ли все это взлетит к черту! Казалось, механик готов расплакаться; затем он перевел дух, мрачно пробормотал: «Я им покажу – терять сознание!» –

[5] По Фаренгейту.

и бросился к люку. Тут он задержался на секунду, чтобы погрозить кулаком неестественно бледному солнцу, а затем, гикнув, прыгнул в темную дыру.

Когда Джакс обернулся, его взгляд упал на круглую спину и большие красные уши капитана Мак-Вира, который перешел на другой конец мостика. Не глядя на своего старшего помощника, он тотчас заговорил:

– Очень вспыльчивый человек – этот второй механик.

– И прекрасный механик, – проворчал Джакс. – Они не могут держать нужное давление пара, – поспешно прибавил он и ухватился за поручни, предвидя неминуемый крен.

Капитан Мак-Вир, не подготовленный к этому, едва удержался на ногах и налетел на пиллерс, поддерживающий тент.

– Богохульник! – упрямо сказал он. – Если так будет продолжаться, я должен буду от него отделаться при первом удобном случае.

– Это все от жары, – сказал Джакс. – Погода ужасная! Тут и святой начнет ругаться. Даже здесь, наверху, я себя чувствую так, словно у меня голова обернута шерстяным одеялом.

Капитан Мак-Вир поднял глаза.

– Вы хотите сказать, мистер Джакс, что вам случалось заворачивать голову в шерстяное одеяло? Зачем же вы это делали?

– Это образное выражение, сэр, – бесстрастно ответил Джакс.

– Ну и словечки же у вас! А это что значит – «и святой начнет ругаться»? Я бы хотел, чтобы вы таких глупостей не говорили. Что же это за святой, если он ругается? Такой же святой, как вы, я думаю. А какое отношение имеет к этому одеяло… или погода? Я же не ругаюсь из-за жары… ведь так? Просто скверный характер. Вот в чем тут дело. А какой смысл выражаться таким образом?

Так выступил капитан Мак-Вир против образных выражений, а под конец и совсем изумил Джакса: он презрительно фыркнул и сердито проворчал:

– Черт возьми! Я его выкину отсюда, если он не будет осторожнее.

А неисправимый Джакс подумал: «Вот тебе на! Мой-то старичок совсем неузнаваем. И характер у него появился. Как вам это нравится! А все – погода. Не иначе как погода. Тут и ангел станет сварливым, не говоря уж о святом…»

Все китайцы на палубе, казалось, находились при последнем издыхании.

Заходящее солнце – угасающий коричневый диск с уменьшенным диаметром – не излучало сияния, как будто с этого утра прошли миллионы столетий и близок конец мира. Густая гряда облаков зловещего темно-оливкового оттенка появилась на севере и легла низко и неподвижно над морем – осязаемое препятствие на пути корабля. Судно, ныряя, шло ей навстречу, словно истощенное существо, гонимое к смерти. Медный сумеречный свет медленно угас; спустилась темнота, и над головой высыпал рой колеблющихся крупных звезд; они мерцали, как будто кто-то их раздувал, и, казалось, нависли низко над землей.

В восемь часов Джакс вошел в штурманскую рубку, чтобы внести пометки в судовой журнал. Он старательно выписал из записной книжки число пройденных миль, курс судна; а в рубрике, озаглавленной «Ветер», нацарапал слово «штиль» сверху донизу – с полудня до восьми часов. Его раздражала непрерывная монотонная качка. Тяжелая чернильница скользила, словно наделенная разумом, умышленно увертывалась от пера. Написав в рубрике под заголовком «Заметка»: «Гнетущая жара», он зажал зубами кончик ручки, как мундштук трубки, и старательно вытер лицо.

«Крен сильный, волны высокие, поперечные…» – начал он снова и подумал: «Сильный – совсем неподходящее слово». Затем написал: «Заход солнца угрожающий. На северо-востоке низкая гряда облаков. Небо ясное».

Навалившись на стол, сжимая перо, он поглядел в сторону двери и в этой раме увидел, как все звезды понеслись вверх по черному небу. Все они обратились в бегство и исчезли;

осталось только черное пространство, испещренное белыми пятнами, ибо море было такое же черное, как и небо, усеянное клочьями пены. Звезды вернулись, когда судно накренилось на другой бок, и вся мерцающая стая покатилась вниз; то были не огненные точки, а крохотные, ярко блестевшие диски.

Джакс секунду следил за летучими звездами, а затем стал писать: «8 п.п. Волнение усиливается. Крен сильный, палуба залита водой. Кули размещены на ночь, люк задраен. Барометр все время падает». Он остановился и подумал: «Может быть, ничего из этого не выйдет». Затем решительно внес последнюю запись: «Все данные, что надвигается тайфун».

Собравшись уйти, он должен был отступить в сторону, чтобы дать дорогу капитану Мак-Виру. Тот вошел, не говоря ни слова и не делая ни единого жеста.

– Закройте дверь, мистер Джакс, слышите? – крикнул он из рубки.

Джакс повернулся, чтобы исполнить приказание, и насмешливо пробормотал:

– Верно, боится простудиться.

Это была не его вахта, но он жаждал общения с себе подобными, а потому беззаботно заговорил со вторым помощником:

– Кажется, дела не так уж плохи, как вы думаете?

Второй помощник шагал взад и вперед по мостику; ему приходилось то быстро семенить ногами, то с трудом карабкаться по вздыбленной палубе. Услышав голос Джакса, он остановился, не отвечая, и стал глядеть вперед.

– Ого! Вот это здоровая волна! – сказал Джакс, покачнувшись так, что коснулся рукой пола.

На этот раз второй помощник издал какой-то недружелюбный звук.

Это был уже немолодой, жалкий человечек со скверными зубами и без малейших признаков растительности на лице. Его спешно наняли в Шанхае, когда прежний второй помощник задержал судно на три часа в порту, ухитрившись (каким образом, капитан Мак-Вир так и не мог понять) упасть за борт и угодить на пустой угольный лихтер, стоявший у борта. Он что-то сломал себе, получил сотрясение мозга и был отправлен на берег в больницу.

Джакса такой недружелюбный звук не обескуражил.

– Китайцы, должно быть, превесело проводят время там, внизу, – сказал он. – Пусть хоть утешаются тем, что наша старушка – самое устойчивое судно из всех, на каких мне приходилось плавать! Ну вот! Этот вал был хоть куда.

– Подождите – и увидите, – буркнул второй помощник.

Нос у него был острый, с красным кончиком; губы тонкие, поджатые; он всегда имел такой вид, словно сдерживал бешенство; речь его была лаконичной до грубости. Все свободное время он проводил в своей каюте, всегда закрывал за собой дверь и затихал там, словно моментально погружался в сон; но когда наступало время его вахты на палубе, матрос, придя его будить, неизменно заставал его в одной и той же позе: он лежал на койке, голова покоилась на грязной подушке, а глаза злобно сверкали. Писем он никогда не писал и, казалось, ни от кого их не ждал; слыхали, как он упомянул однажды о Вест Хартлпуле, да и то с крайним озлоблением в связи с грабительскими ценами в каком-то пансионе. Был он одним из тех людей, которых, в случае необходимости, можно подобрать в любом порту. Такие люди бывают в достаточной мере компетентны; по-видимому, всегда нуждаются; порочных наклонностей не обнаруживают и неизменно носят на себе клеймо неудачника. На борт они попадают случайно, ни к одному судну не привязаны, живут, мало общаясь с товарищами, экипаж судна ничего о них не знает, а от места они отказываются в самое неподходящее время. Ни с кем не попрощавшись, они сходят на берег в каком-нибудь всеми забытом порту, где всякий другой человек побоялся бы высадиться, и тащат свой ветхий морской сундучок, старательно обвязанный веревкой, словно там хранятся какие-то сокровища; кажется, будто они, уходя, посылают проклятие судну.

– Подождите, – повторил он, раскачиваясь, чтобы сохранить равновесие, и упорно поворачивая спину Джаксу.

– Вы хотите сказать, что нам придется туго? – спросил Джакс с мальчишеским любопытством.

– Сказать?.. Я ничего не говорю. Вы меня на слове не поймаете, – отрезал второй помощник с таким презрительно-самодовольным и лукавым видом, как будто вопрос Джакса был хитро расставленной ловушкой. – Э, нет! Никто из вас не заставит меня свалять дурака, – пробормотал он себе под нос.

Джакс поспешил вывести заключение: второй помощник – подлая скотина, и мысленно пожалел, что бедняга Джек Элен свалился на этот угольный лихтер. Далекая черная масса впереди судна казалась какой-то иной ночью, видимой сквозь звездную ночь земли. Ночь эта была беззвездной и находилась за пределами вселенной; в ее зловещую тишину можно было заглянуть через узкую щель в сияющей сфере, которая обволакивает землю.

– Что бы там ни было впереди, – сказал Джакс, – мы несемся прямо навстречу ему.

– Вы это сказали, – подхватил второй помощник, по-прежнему стоя спиной к Джаксу. – Вы это сказали, помните – не я.

– Ах, убирайтесь вы к черту! – прорвало Джакса; второй помощник торжествующе хихикнул.

– Вы это сказали, – повторил он.

– Ну так что ж?

– Я знавал действительно хороших людей, которым попадало от их шкиперов из-за менее неосторожных слов, – с лихорадочным возбуждением ответил второй помощник. – Э, нет! Меня вы не поймаете.

– Вы как будто чертовски боитесь выдать себя, – сказал Джакс, обозленный такой нелепостью. – Я бы не побоялся говорить то, что думаю.

– Мне-то? Невелика храбрость. Я – нуль, и сам это знаю.

Судно после сравнительно устойчивого положения снова стало раскачиваться на волнах, качка усиливалась с каждой секундой; и Джакс, старавшийся сохранить равновесие, был слишком занят, чтобы ответить. Как только яростная качка несколько утихла, он проговорил:

– Пожалуй, это уже слишком. Хорошенького понемногу! Надвигается что или нет, а все-таки, мне кажется, следует повернуть судно против волны. Старик только что пошел прилечь. Пойду-ка я поговорю с ним.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.